Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!

Памфлеты, очерки и зарисовки. Владимир Владимирович Маяковский

ПАРИЖ
(Записки Людогуся)
ПРЕДИПОЛСЛОВИЕ
Вы знаете, что за птица Людогусь? Людогусь — существо с тысячеверстой шеей: ему виднее!

У Людогуся громадное достоинство: «возвышенная» шея. Видит дальше всех. Видит только главное. Точно устанавливает отношения больших сил.

У Людогуся громадный недостаток: «поверхностная» голова — маленьких не видно.

Так как буковки — вещь маленькая (даже называется — «петит!»), а учебники пишутся буковками, то с такого расстояния ни один предмет досконально не изучишь.

Записки Людогуся блещут всеми людогусьими качествами.

О ЧЕМ!
О парижском искусстве + кусочки быта.

До 14 года нельзя было выпустить подобные записки.

В 22 году — необходимо.

До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.

Париж знали наизусть.

Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло?!

Сейчас больше знакомых с полюсами, чем с Парижем.

Полюс — он без Пуанкарей. Он общительнее.

ВЕСЕЛЕНЬКИЙ РАЗГОВОРЧИК В ГЕРМАНСКОМ КОНСУЛЬСТВЕ
— Виза есть?

— Есть.

— Ваш паспорт?

Протягиваю красную книжечку РСФСР. У секретарши руки автоматически отдергиваются за ее собственную спину.

— На это мы виз не ставим. Это надо переменить. Зайдите. Тут рядом 26-й номер. Конечно, знаете. (Беленькое консульство!)

Мадам говорит просто, как будто чашку чая предлагает.

Делаю удивленное и наивное лицо:

— Мадам, вас, очевидно, обманывают: наше консульство на Унтер-ден-Линден, 7. В 26-м номере, должно быть, какая-то мошенническая организация. 26-й номер нигде в НКИД не зарегистрирован. Вы должны это дело расследовать.

Мадам считает вопрос исчерпанным.

Мадам прекращает прения:

— На это мы визы не поставим.

– На что же вы ее поставите?

– Можем только на отдельную бумажку.

– На бумажку, так на бумажку – я не гордый.

– Неужели вы вернетесь опять туда?!

– Обязательно.

Мадам удивлена до крайности.

Очевидно, наши «националисты», проходившие за эти годы сквозь консульства, с такой грациозностью, с такой легкостью перепархивали с сербского подданства на китайское, что мое упорство просто выглядело неприлично.

ДИАЛОГ СО «СПЕЦИАЛЬНЫМ» ПОЛИЦЕЙСКИМ
Французская граница. Осмотр паспортов. Специальный комиссар полиции. Посмотрит паспорт и отдаст. Посмотрит и отдаст.

Моя бумажка «специальному» определенно понравилась.

«Специальный» смотрит восторженно то на нее, то на меня.

– Ваша национальность?

– Русский.

– Откуда едете?

– Из Берлина.

– А в Берлин откуда?

– Из Штетина.

– А в Штетин откуда?

– Из Ревеля.

– А в Ревель откуда?

– Из Нарвы.

– А в Нарву откуда?

Больше иностранных городов не осталось. Будь, что будет. Бухаю:

– Из Москвы.

В ответ получаю листок с громким названием: «Санитарный паспорт» и предложение:

В 24 часа явиться к префекту парижской полиции.

Поезд стоит. Стою я. Рядом – «специальный». Поддерживает вежливую беседу. Где остановлюсь? Зачем еду? Такой внимательный. Все записывает.

Поезд трогается. «Специальный» соскакивает, напоминая:

– В двадцать четыре!

Предупредительные люди!

У ПРЕФЕКТА ПОЛИЦИИ
Париж. Закидываю вещи в первый попавшийся отель. Авто. Префектура.

Отвратительно с блестящей Сены влазить в огромнейшую нудную казарму. Наполнена блестящими сержантами и привлекаемою за что-нибудь дрянью парижских чердаков и

подвалов.

Меня сквозь нищую толпу отправляют на третий этаж. Какой-то секретарь в черной мантилье.

Становлюсь в длинную очередь. Выстоял.

— У меня «санитарный паспорт». Что делать?

— Сняться. Четыре карточки засвидетельствуете в своем участке и оставите там, а четыре засвидетельствуете и сейчас же сюда.

— Мосье! «Санитарный паспорт», очевидно, преследует медицинские цели. Я из России два месяца. Нет смысла хранить столько времени вшей специально для Парижа. Во-вторых, едва ли фотография — хорошее средство от тифов: я буду сниматься одетым, до пояса, в маленьком формате; если у меня даже вши и есть, не думаю, чтобы они при таких условиях вышли на карточках.

Очевидно, «санитарный» — по-французски не то, что по-русски. Речь моя «мусье в мантилье» не убедила, и меня все-таки послали к… фотографу.

Вместо фотографа я пошел к себе в отель.

Так и так. Если всю эту канитель надо проделывать, возьмите мне на завтра билет в Берлин.

— Плюньте и дней десять живите!

Плюнул с удовольствием.

СХЕМА ПАРИЖА
После нищего Берлина — Париж ошеломляет.

Тысячи кафе и ресторанов. Каждый, даже снаружи, уставлен омарами, увешан бананами. Бесчисленные парфюмерии ежедневно разбираются блистательными покупщицами духов. Вокруг фонтанов площади Согласия вальсируют бесчисленные автомобили (кажется, есть одна, последняя, лошадь, — ее показывают в зверинце). В Майолях, Альгамбрах — даже во время действия, при потушенных люстрах — светло от бесчисленных камней бриллиантщиц. Ламп одних кабаков Монмартра хватило бы на все российские школы. Даже тиф в Париже (в Париже сейчас свирепствует брюшной тиф) и то шикарный: парижане его приобретают от устриц.

Не поймешь! Три миллиона работников Франции сожрано войной. Промышленность исковеркана приспособлением к военному производству. Области разорены нашествием. Франк падает (при мне платили 69 за фунт стерлингов!). И рядом — все это великолепие!

Казалось бы, для поддержания даже половины этой роскоши — каждый дом Парижа надо бы обратить в завод, последнего безземельного депутата поставить к станку.

Но в домах, как и раньше, трактиры.

Депутаты, как и раньше, вертят языками.

Хожу улицами. Стараюсь понять схему парижского дня, найти истоки золота, определить размеры богатства.

Постепенно вырисовывается такая схема:

Деловой день (опускаю детали) — все, начиная с Палаты депутатов, с крупнейших газетищ, кончая последней консьержкой, стараются над добычей золота не из каких-нибудь рудников, а из разных подозрительных бумажек: из Версальского договора, из Севрского, из обязательств нашего Николая. Трудится Пуанкаре, выкраивает для Германии смирительную рубашку репараций. Трудится газета, травящая Россию, мешающую международным грабежам. Трудится консьержка, поддерживая свое правительство по мере сил и по количеству облигаций русских займов.

Те, кто урвали из возмещенных «военных убытков», идут в Майоли. Те, кто только получили жалованье, при выколачивании, шествуют в кафе. Те, кто ничего не получили, текут в кино, смотреть призывы правительства к размножению (надо «переродить» немцев!), любуются «самым здоровым новорожденным Парижа», стараются рассчитать, сколько франков такой род обойдется в хозяйстве, и… слабо поддаются агитации.

А утром возвращающихся из Монмартра встречают повозки зелени окрестных фермеров, стекающихся в Галль — «желудок Парижа».

Крестьяне получают бумажки и медь, оставшиеся от размена германских золотых марок. Париж получает свою порцию салатов и моркови для восстановления сил трудящихся Пуанкарей и консьержек.

К сожалению (для Парижа), это не перпетуум мобиле.

Все меньше французов, все больше долларороносных американцев лакомятся Парижем. Американцы ездят в Париж так же, как русские в Берлин, — отдохнуть. Им дешевка!

Все меньше надежд на целительные свойства германских марок.

Париж начинает понимать — времена феодализма прошли. Военной податью не проживешь. Париж подымает голову. Париж старается заглянуть через «санитарные паспорта» специальных комиссаров полиции. Склоняют парижские газеты слова: «мораторий», «отсрочка», «передышка». Кричат с газетных страниц 270 интервью Эррио.

ИСКУССТВО ПАРИЖА
До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Париж приказывал, Париж выдвигал, Париж прекращал. Так и называлось: парижская мода.

Критики (как всегда, недоучившиеся художники) были просто ушиблены Парижем.

Что бы вы ни делали нового, резолюция одна: в Париже это давно и лучше.

Вячеслав Иванов так и писал:

Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.
Доходили до смешного:

В Москве до войны была выставка французов и русских. Критик Койранский назвал русских жалкими подражателями и выхвалял какой-то натюрморт Пикассо. На другой день выяснилось, что служитель перепутал номера, и выхваляемая картина оказалась кисти В. Савинкова, ученика жалких «подражателей», а сам Пикассо попал в «жалкие».

Было до того конфузно, что газеты даже писать об этом отказывались. Тем конфузнее, что на натюрморте были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо.

Даже сейчас достаточно выступить в Париже, и вам обеспечены и приглашение в Америку и успех в ней. Так, например, даже провалившийся в Париже Балиев выгребает ведрами доллары из янки.

Восемь лет Париж работал без нас. Мы работали без Парижа.

Я въезжал с трепетом, смотрел с самолюбивой внимательностью.

А что, если опять мы окажемся только Чухломою?

ЖИВОПИСЬ
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве. В жизни это дало «парижский шик», в искусстве это дало перевес живописи над другими искусствами.

Живопись — самое распространенное, самое влиятельное искусство Франции. Не говорю даже о квартирах. Кафе и рестораны сплошь увешаны картинами. На каждом

шагу магазин-выставка. Огромные домища – соты-ателье. Франция дала тысячу известнейших имен. А на каждого с именем приходится еще тысяча пишущих, у которых не только нет имени, но и фамилия их никому не известна, кроме консьержки.

Перекидываюсь от картины к картине. Выискиваю какое-нибудь открытие. Жду постановки новой живописной задачи. Добиваюсь в картине раскрытия лица сегодняшнего Парижа.

Заглядываю в уголки картин – ищу хоть новое имя.

Напрасно.

По-прежнему центр – кубизм. По-прежнему Пикассо – главнокомандующий кубистической армией.

По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» наиприятнейший зеленоватый Брак.

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче – объему.

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.

По-прежнему «дикие» – Дерен, Матисс – делают картину за картиной.

По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».

И по-прежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.

Это видно ясно каждому свежеприехавшему.

Это чувствуется и сидящими в живописи.

С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.

Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, об РСФСР.

Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.

Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.

Здесь художникам-французам приходится учиться у нас.

Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место… Нужна октябрьская метла.

А какая почва для французского искусства? – Паркет парижских салонов!

[1922]

ПАРИЖ
ТЕАТР ПАРИЖА

Париж гордится своей Комедией, театром Сары Бернар, Оперой… Но парижане ходят в Альгамбру, к Майолю и в прочие веселые места. Туда и я.

Тем более, что драма и, конечно, опера и балет России несравненно и сейчас выше

Парижа. Но меня даже не интересовало сравнивать наши руины с чужими и гордиться величием собственных. В Альгамбре и Фоли-Бержер, кроме искусства, которым живет сейчас масса Парижа, выступают быт, темперамент, одобрение и негодование пылких французов.

Популярность этих ревю-обозрений потрясающа.

У нас сейчас корпят над десятком постановок в сезон и все же через неделю с ужасом окидывают партерные плеши.

В Париже ревю идет год, в огромном театре перекидывает четырехсотые спектакли на следующий год, и все время сидят, стоят и висят захлебывающиеся восторгом люди.

Актриса может сколько угодно под бешеный джаз-банд выламывать руки и ноги, но никто из публики не должен даже слегка поломать голову.

Каков вкус?

ВКУС МАХРОВОГО БУРЖУА
Это Майоль. Крохотный зал. Со сцены в публику мостки.

Войдя, оглядев балкон, я сначала удивился, чего это публика голые колени на барьер положила. Ошибся. Наклонились почтенные лысины. Сверху, должно быть, выглядит фантастическим биллиардом в триста лоснящихся шаров.

В обозрении три действия. Сюжет простой. В трех действиях бегают, декламируют и поют любовные вещи, постепенно сводя на нет количество одежи. Кончается все это грандиозным гопаком в русских костюмах. Очевидно, наша эмиграция приучила уважать «национальное достоинство России».

Три актрисы выходят с огромными вазами конфет (эти же вазы — почти единственная одежда) и начинают храбро бомбардировать этими конфетами раскрасневшиеся и влажные от удовольствия лысины…

С полчаса в зале стоит «здоровый, бодрящий» смех.

Это культурное развлечение кончается для официальности легким демократическим выступлением.

Шансонетка поет под оркестр с проскальзывающими нотами марсельезы — о презрении к законам, о вражде к государству и о свободе… есть, пить и любить на Монмартре.

«Я свободной Монмартрской республики дочь».

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ВКУС
Это Альгамбра. Многоярусный театр. Вкусы пестрые — от благородного партера до блузной галерки.

Программа тоже пестрая — от балерин-наездниц до драмы Мистингет.

Здесь уже видишь эпизодики отражений внутрипарижской борьбы.

Первый номер — дрессированные попугаи.

Дама расставила антантовские флажки: французский, английский, бельгийский, итальянский, американский, японский.

Попугай за ниточку будет подымать любой, по желанию публики.

Дама предлагает публике выбирать.

В ответ с одной стороны галерки крик басом:

— Русский!

С другой — тенором:

— Большевик!

Дама смущена, извиняется:

– Таких нет!

Партер и половина ярусов свистит и цыкает на галерку.

Когда, наконец, согласились на американском, перепуганный попугаи, которому пришлось принять участие в «классовой борьбе» в незавидной роли соглашателя, уже ничего не мог поднять, кроме писка.

Страсти рассеяли музыкой два англичанина, игравшие на скрипках, бегая, танцуя и перекидываясь смычками.

Окончательно страсти улеглись на «драме» Мистингет.

Драма несложная. Верзила заставляет любовницу принять участие в крушении и ограблении поезда. Кладут на рельсы камень. Мистингет в отчаянии. Ей грозят. Все же она старается предупредить машиниста. Не может. Каким-то чудом ей удается под носом паровоза свернуть камень на головы бандитов. Поезд прошел. Бандиты убиты. Порок покáран. Добродетель восторжествовала.

Эта мораль (разыгранная, правда, Мистингет поразительным языком с поразительным искусством) примиряет всех разнопартийных, но одинаково сантиментальных парижан.

На следующем номере страсть разгорается.

Трансформатор.

Изображает всех – от Жореса до Николая Второго.

Безразлично проходят Вильсон, Римский папа и др.

Но вот – Пуанкаре! – и сразу свист всей галерки и аплодисменты партера.

Скорей разгримировывается.

– Жорес! – Свист партера и аплодисменты галерки.

– Русский несчастный царь. – Красный мундир и рыжая бородка Николая.

Оркестр играет: «Ах, зачем эта ночь так была хороша».

Бешеный свист галерки и аплодисменты партера.

Скорей обрывает усы, ленту и бородку.

Для общего успокоения:

– Наполеон!

Сразу рукоплескания всего зала. В Германии в точно таких случаях показывают под занавес Бисмарка.

Здесь веселее.

Если эта, все же рафинированная аудитория так страстна в театре, то как «весело» будет Пуанкаре, когда ареной настоящей борьбы станут улицы Парижа.

СЕРЫЙ ВКУС

Ревю Фоли-Бержер. Театр мещан. Театр обывателя. Огромный, переплетенный железом. Напоминает питерский Народный дом.

Здесь и вкус Майоля – только чтобы не чересчур голый.

И вкус Альгамбры – только чтобы мораль семейная.

Но зато, если здесь и полуголые, то в общепарижском масштабе. Сотни отмахивающих

ногами англичанок. Максимум смеха и радости, когда вся эта армия, легши на пол, стала вздымать под занавес то двести правых, то двести левых ног.

Это единственный номер из всех, виданных мною в парижских театрах, который был дважды бисирован.

Даже драма Мистингет здесь была бы неуместна.

Смех, конечно, вызывается тем, что актеры играют пьяных, не попадающих в рукав, садящихся на собственные цилиндры. И, конечно, общий восторг, общая радость — вид собственного быта, собственной жизни.

Это сцена у консьержки. Роженица. Но и посланные за акушеркой, и сама акушерка, и доктор — все остаются завороженные рассказом консьержкиной дочки о кино и философией самой консьержки. Врывается рассвирепевший отец, его успокаивают: за разговором французик успел родиться сам. Приблизительно так.

И это идет, идет и идет ежедневно.

А ЧТО ЕЩЕ?
Это, конечно, не арена для одиноких художников, революционизирующих вкус.

Что же делают они?

Новых постановок я не видел.

Говорили о пьесе модного сейчас «левого» Кокто: не то «Бык на крыше», не то «Свадьба на Эйфелевой башне». Современная пьеса, шедшая для «красоты» чуть ли не в кринолинных костюмах… О Софокле в Пикассо. Мешанина. Однобокость. И она будет всегда, пока будут стараться натянуть новую форму на отмирающий быт Парижа. А у нас новый быт вкрутить в старую форму.

Хороший урок и для новаторов России.

Хочешь найти резонанс революционному искусству — крепи завоевания Октября!

[1923]

ПАРИЖ
БЫТ
Этот очерк — о быте Парижа. Я не был во Франции до войны, бывшие утверждают — внешность Парижа за эти годы изменилась мало: толпа, свет, магазины — те же. Поэтому буду говорить только о сегодняшних черточках.

ОТНОШЕНИЕ К НАМ
Германия пережила медовый месяц любви к РСФСР. Эта любовь перешла в спокойную дружбу. Иногда даже ревнивую, со сценами. Так было, например, во время поездки Эррио по России. Некоторые газеты пытались видеть в этом измену — роман с француженкой.

Париж видит сейчас первых советских русских. Красная паспортная книжечка РСФСР — достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не иметь никаких иных достоинств и все же оставаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку.

Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков). Главное — интерес: на меня даже установилась некоторая очередь. По нескольку часов расспрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о «национализации женщин» в Саратове.

Компания художников (казалось бы, чтó им!) 4 часа слушала с непрерываемым вниманием о семенной помощи Поволжью. Так как я незадолго перед этим проводил агитхудожественную кампанию по этому вопросу, у меня остались в голове все цифры.

Этот интерес у всех, начиная с метельщика в Галле, с уборщика номера, кончая

журналистом и депутатом.

Конечно, главные вопросы о Красной Армии.

Один француз, владелец художественного магазина, серьезно убеждал меня, что не стоит пытаться завоевать Францию, так как, во-первых, это невозможно (Жоффр!), а во-вторых, надо сохранить латинскую культуру. И закончил с истинно парижскою любезностью: «Ваше красное вино нужно немного смешать с нашей водой, и тогда это будет напиток и для французского обеда».

Пришлось указать, что меню для него будут составлять французские рабочие без моего непосредственного участия.

Этот интерес не только любезность к гостю.

Так, например, на банкете, устроенном по случаю моего приезда художниками Монмартра, известный французский критик Вольдемар Жорж первый тост предложил за Советскую Россию. Предприятие в парижской обстановке не очень безвредное.

Даже мне приходилось все время вводить публичные разговоры исключительно в художественное русло, так как рядом с неподдельным восторгом Жоржа всегда фимиамился восторг агентов префекта полиции, ищущих предлога для «ускорения» моего отъезда.

Интерес растет во всем. Начинается, конечно, с искусства. Парижские издатели ищут для переводов писателей РСФСР. Пианист Орлов играет у м-м Мильеран. Мадам Мильеран входит в комитет помощи детям, официально устраивающий советскую выставку живописи. Для выставки этой отводится лучшее помещение — комната Лувра.

Кончается упрочением и расширением влияния т. Скобелева, от чуть ли не заложника, до неофициального, но все-таки торгового и пр. представителя Советов.

ОТНОШЕНИЕ К ЭМИГРАЦИИ
С возрастанием интереса к людям РСФСР, естественно, падает «уважение» к белогвардейской эмиграции, переходя постепенно в презрение.

Это чувство становится всемирным — от отказа визирования белогвардейских паспортов Германией, до недвусмысленного указания на дверь «послу» Бахметьеву в Вашингтоне.

В Париже самая злостная эмиграция — так называемая идейная: Мережковский, Гиппиус, Бунин и др.

Нет помоев, которыми бы они не обливали все относящееся к РСФСР.

Вплоть до небольшого «театра для себя».

Мне рассказывал, напр., один парижский литератор о лекции Гиппиус на невинную тему о Блоке. Исчерпав все имеющиеся в стихах, в печатном материале указания на двойственность, на переменчивость его, на разный смысл «12», — она вдруг заминается…

— Нет, нет, об этом я не стану говорить.

Из рядов встает Мережковский:

— Нет, обязательно скажите, тут не должно быть никаких недоговорок!

Гиппиус решительно отказывается:

— Это антиеврейские фразы из личной переписки, и их неудобно опубликовывать, нет. Нет, не могу…

Ничего достоверного, но тень на Блока — на лучшего из старописательской среды, приявшего революцию, — все-таки по мере возможности брошена.

«Идейность» эта вначале кое-что давала: то с бала Grand Prix[1] перепадет тысяч 200 франков, то дюшес де Клармонт устроит вечер. Это для верхушек эмиграции.

Низы воют, получая только изредка обеденные карточки.

Впрочем, в связи с провалом «идейности» уменьшилось и количество «вещественных доказательств невещественных отношений».

Перед моим отъездом уже какая-то дюшесса выражалась так: надо устроить этот вечер, чтоб они хоть месяца два не лезли! Все-таки солидный шаг из русской интеллигенции в… в черт его знает во что!

Я ни слова не прибавляю в этих разговорах от своей ненависти. Это точная, записанная мною в книжечку характеристика самих низков парижской эмиграции.

Лично я с этими китами не встречался по понятным причинам, да и едва ли они мне б об этом рассказали.

Рядом с изменением «душевных» отношений меняется и правовое.

При мне громом среди ясного неба прозвучал отказ германского посольства от визирования эмигрантских паспортов.

При постоянных поездках в низковалютную Германию для поправки денежных дел — это большой удар. Многие стали бешено наводить справки, где же им взять наш красный паспорт (на первое время, очевидно, решили иметь два), потом последовало, по настоянию французов, очевидно, разъяснение, что паспортов не визируют, но будут визировать бумажки. Все-таки с бумажками им много хуже — по себе знаю!

Зато в положительную радость привело германское консульство визирование в Париже первого, моего, советского паспорта. Я мирно заполнил анкету. Служащие засуетились. Побежали к консулу, вышел сам, прекраснейший и добрейший г-н Крепс, тут же велел не требовать никаких анкет от советских. В секунду заполнив все подписи, выдал мне визированной мою редкость.

ВНЕШНОСТЬ
Уличная, трактирная и кафейная жизнь Парижа во всех разгарах. Кафе эти самые через магазин, два — обязательно. До 12-ти — по кафе и ресторанам, после 12-ти и до 2-х — Монпарнас, и после всю ночь — Монмартр или отдельные шоферские кабачки на Монпарнасе. А под самое утро — особое рафинированное удовольствие парижан — идти смотреть в Центральный рынок Галль пробуждение трудового Парижа.

Париж не поражает особой нарядностью толпы, вернее, не кричит. На центральных улицах Берлина эта нарядность прет более вызывающе: во-первых, заметнее, наряду с массой ободранных берлинцев, во-вторых, в Берлин приезжают одеваться «средняки» из высоковалютных стран. С неделю перед отъездом носят все на себе, чтобы вещь слегка обносилась и не вызывала особой алчности таможенников.

Потрясает деятельно, очевидно, сохраняемая патриархальность парижского быта.

Где бы вы ни были: в метро, в ресторане, на рынке, в квартире — те же фигуры, давным-давно знакомые по рисуночкам к рассказикам Мопассана.

Вот в метро глухой поп уселся на самом неудобном кондукторском месте, положил у ног свои религиозные манатки, уперся глазами в молитвенник. Полная непоколебимость. По окончании молитвы — ошеломляющее сведение: проехал две станции за своей церковкой. К аскету возвращается долго сдерживаемая страстность (еще бы — обратный путь новые 50 сантимов!), рвется на ходу прямо в тоннель, отбивается от хватающих за фалды спасителей, на остановке теряет шапчонку и, блестя тонзурой и размахивая крыльями пелерины, носится по перрону, призывая бога-отца со всеми его функциями разразить громом кондуктора.

Трактир. Двое усачей в штатском, но украшенные военными орденами и огромными усищами, привязав лошадей у входа, зашли запить прогулку по Булонскому лесу. Сидят с величественностью Рамзеса, всеми зубами штурмуют омара, отрываясь только на секунду ругнуть немцев или оглядеть вновь вошедшую даму.

А в Тюльерийском саду — ряды черных старух над всевозможнейшими вязаниями.

Только изредка взвизгом контраст: у остановки метро ободранная женщина, не могущая из-за тесноты попасть во второй класс и за отсутствием сантимов — в

первый, кроет заодно и хозяев метрополитена и проклятую войну.

– Раньше, когда был жив муж, небось этого не сделали бы!

Сначала меня поразило, особенно после Берлина, полное отсутствие просящих нищих. Думал, «во человецех благоволение». Оказалось другое. Какая-то своеобразная этика парижских нищих (а может, и полицейская бдительность) не позволяет им голосить и протягивать руку. Но все эти мрачные фигуры, безмолвно стоящие сотнями у стен, – те же берлинские отблагодаренные Пуанкаре герои войны или осколки их семей.

ВЕСЕЛИЕ
В Париже нет специфических послевоенных удовольствий, захвативших другие города Европы.

Есть танцы. Увлечение тустепами большое, но нет этого берлинского – «восьмичасовой танцевальный день!» – чтобы все от 4 до 7 и от 9 до 2 ночи бежали толпами в «диле».

Нет и своеобразных американских игр: 200 часов беспрерывной игры на рояле, пока играющий не умрет или не сойдет с ума.

Нет и английской игры в «бивер». Разыскивают на улице бородача, и кто первый увидел и крикнул «бивер», тот выиграл очко (в Лондоне нет бородачей, только Бернар Шоу да король Георг, – Бернар Шоу брить бороду не хочет, а Георг не может, «так как на почтовых марках 1/3 мира он с бородой»).

Веселие Парижа старое, патриархальное, по салонам, по квартирам, по излюбленным маленьким кабачкам, куда, конечно, идут только свои, только посвященные.

Уличное веселие тоже старое, патриархальное. В день моего отъезда был, напр., своеобразный парижский карнавал – день святой Екатерины, когда все оставшиеся в девушках до 30 лет разодеваются в венки и в цветы, демонстрируясь, поя и поплясывая по уличкам.

Европейские культурные удовольствия «для знатных иностранцев» запрятались на Монмартр.

Если бы наш фореггер бросился сюда, ища «последний крик», «шумовую музыку» для огорошения москвича, – он был бы здорово разочарован. Даже все «тустепы» и «уанстепы» меркнут рядом с потрясающей популярностью… российских «гайда-троек». Танцуют под все русское. Под Чайковского (главным образом), под «Растворил я окно», под «Дышала ночь восторгом сладострастья», под «Барыню» даже! Играют без перерыва, переходя с мотива на мотив и от столика к столику за сбором франков. Раз, увидев протянутые мною 10 франков, и, очевидно, угадав русского, маэстро живо перевел скрипку на «Боже, царя храни» (публика продолжала танцевать), видя, что я отдергиваю франки, дирижер с такою же легкостью перевел на «Камин потух».

И в каждом оркестре обязательно гармонь, немного, говорят, усовершенствованная, но все же настоящая гармонь.

Недаром русские не только в присутствующих, но и в служащих. Танцуют, видите ли. Хозяин нанимает пару дам и пару стройных мужчин, так вот эти мужчины из аристократов русской эмиграции. В одном кабачке вижу знакомое лицо. – Кто это? – Это – ваш москвич. Один из золотой молодежи, известный всей Москве по громкому процессу об убийстве жены.

И вот – Монмартрский кабак: 40 франков в вечер и бутерброд.

ПАЛАТА ДЕПУТАТОВ
Рвусь осмотреть высший орган демократической свободной республики.

Перед зданием с минуту не могу вручить пропуск, все глаза устремлены на карету цугом, с длиннейшим эскортом. Кто? Сержант козыряет, но едущего за жандармерией не разглядеть – не то новый английский посланник, не то сам Пуанкаре.

Бреду через десятки инстанций. Каждая «инстанция» пронзительно кричит, передавая другой, другая проверит и кричит дальше, пока не добредаю до галерки. Еще темно

(одно верхнее окно – крыша); депутаты собираются ровно в два часа дня, но все хоры и ярусы уже заняты благоговейным шепотом переговаривающимися под бдительным оком медализированных капельдинеров парижанами.

– Сегодня скучно будет, разве что Пуанкаре будет говорить по бюджету, вот тогда дело другое, тогда пошумят.

Ждем долго. Рядом старик (какой-то русский генерал, всем рассказывающий о двух своих сыновьях) тихо и уверенно засыпает.

Передо мною трибуна в три яруса, секретарский стол внизу, выше – ораторская трибуна, и, наконец, самая вышка – председательский «трон». Пред – полукруг депутатских скамей, меж ними чинно расхаживающие, сияя цепями, пристава (большинство – почетные инвалиды войны). Зал наполняется туго: вопросы не интересные, да и интересные решаются не здесь – за кулисами. Из 650 депутатов еле набирается сотня. Сосед называет: вот на крайней правой седой, лысый – это Кастело – роялист, вот этот левее черный – Моро-Джафери, слева пусто. Узкая и без того коммунистическая полоска еще сузилась с отъездом коминтернцев в Москву. Ровно в два отдаленный бой барабана, пристава выстраиваются, меж их рядами пробегает и всходит, гордо закинув голову, на свое место председатель Пере. Вопрос для политиканов действительно скучный – какой-то депутат центра поддерживает свою статью бюджета – поддержка медицинских школ. Депутат – провинциал. Провинциал горячится. Очевидно, говорить ему не часто – говорит, стараясь произвести впечатление, с пафосом.

Но впечатление маленькое.

Г-н Пере читает бумаги, депутаты расхаживают, читают газеты, от времени до времени начинают на весь зал переругиваться между собой.

Г-н Пере лениво урезонивает депутатов, оратор мчит дальше. Депутаты дальше шумят. Словом – «у попа была собака».

Без всякого комплимента приходится установить – даже в наших молодых советах можно было бы поучить палату серьезности и отношению к делу.

Потеряв надежду на появление разнообразия в этом меланхолическом деле, расхожусь вместе со всей остальной расходящейся публикой.

ПОИСКИ ТЕХНИКИ
На обратном пути я стал бомбардировать руководителей моих просьбой избавить меня от политиканства депутатов и от искусства и показать что-нибудь новое из парижской «материальной культуры».

– Что у вас выстроили нового, покажите что-нибудь, что бы не служило или удовольствиям, или организации новых военных налетов.

Мои руководители задумались – такового что-то не припомним. Такого что-то за последние годы не было.

Отношу это к неосведомленности моих руководителей, но все же это показательно. Ведь вот в Москве, что ни говори, а какую-нибудь стройку, хотя бы восстановление – для нас и это много – все же любой покажет.

Наконец, на другой день художник Делонэ (опять художник!), раздумав, предложил мне:

– Поедем в Бурже.

БУРЖЕ
Бурже – это находящийся сейчас же за Парижем колоссальный аэродром.

Здесь я получил действительно удовольствие.

Один за другим стоят стальные (еле видимые верхушками) аэропланные ангары. Провожающий нажимает кнопку, и легко, плавно электричество отводит невероятную несгораемую дверь. За дверью аккуратненькие, блестящие аэропланы – вот на шесть человек, вот на двенадцать, вот на двадцать четыре. Распахнутые «жилеты»

открывают блестящие груди многосильнейших моторов. С каким сверхлуврским интересом лазим мы по прекраснейшим кабинкам, разглядываем исхищрения и изобретения, любезно демонстрируемые провожающим летчиком.

Рядом второй — ремонтный ангар. Показывают одни обломки, — вот в этом летели через Ламанш, и сошедший с ума, в первый раз влезший пассажир убил выстрелом из револьвера наповал пилота. Погибли все. С тех пор пилотов и пассажиров размещаем иначе.

Рядом обивают фанерой длинненькую летательную игрушку. С гордостью показывают особый холст на крыльях — не уступит алюминию, не секрет.

Переходим через аккуратную, небольшую таможню на гладко вымощенную площадку.

Грузятся два 24-местных аэроплана. Один в Лондон, а другой в Швейцарию.

Через минуту вынимают клинья из-под колес, аэропланы берут долгий разбег по полю, описывают полукруг, взвиваются и уже в небе разлучаются: один — на север, другой — на восток.

Хорошо-то хорошо, только бы если отнять у этих человеко-птиц их погромные способности.

Перед уходом мы, с трудом изъяснявшиеся все время с нашим любезным провожатым, пытаемся с тем же трудом его поблагодарить. Француз выслушал и потом ответил на чисто русском языке:

— Не стоит благодарности, для русских всегда рад, я сам русский, ушел с врангелевцами, а теперь видите…

Серьезную школу прошли! Где только русских не раскидало. Теперь к нам пачками возвращаются «просветленные».

Что ж, может быть, еще и РСФСР воспользуется его знаниями.

Вот Франция!

А за всем этим памфлетом приходится сказать — ругать, конечно, их надо, но поучиться у них тоже никому из нас не помешает. Какая ни на есть вчерашняя, но техника! Серьезное дело.

[1923]

ПАРИЖСКИЕ ОЧЕРКИ
МУЗЫКА
Между мной и музыкой древние контры. Бурлюк и я стали футуристами от отчаянья: просидели весь вечер на концерте Рахманинова в «Благородном собрании» и бежали после «Острова мертвых», негодуя на всю классическую мертвечину.

Я с полным правом рассчитывал на то же в Париже, и меня только силком затаскивали на рояльные неистовства.

Мы едем к Стравинскому. Больше всего меня поразило его жилье. Это фабрика пианол — Плевель. Эта усовершенствованная пианола все более вытесняет на мировом рынке музыканта и рояль. Интересно то, что в этой фабрике впервые видишь не «божественные звуки», а настоящее производство музыки, вмещающее все — от музыканта до развозящих фур. Двор — фабричный корпус. Во дворе огромные фуры уже с пианолами, готовыми в отправку. Дальше — воющее, поющее и громыхающее трехэтажное здание. Первый этаж — огромный зал, блестящий пианольными спинами. В разных концах добродетельные пары парижских семеек, задумчиво выслушивающих наигрываемые для пробы всехсортные музыкальные вещицы. Второй этаж — концертный зал, наиболее любимый Парижем. До окончания рабочего дня здесь немыслимо не только играть, но и сидеть. Даже через закрытые двери несется раздирающий душу вопль пробуемых пианол. Тут же то суетится, то дышит достоинством сам фабрикант г. Леон, украшенный орденом Почетного легиона. И, наконец, вверху — крохотная комнатка музыканта, загроможденная роялями и пианолами. Здесь и творит симфонии, тут же передает в работу фабрике и, наконец, правит на пианоле музыкальные

корректуры. Говорит о пианоле восторженно: «Пиши хоть в восемь, хоть в шестнадцать, хоть в двадцать две руки!»

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ

Душа этого дела, во всяком случае одна из душ, — опарижившийся русский, Игорь Стравинский. Музыкальная Россия его прекрасно знает по «Петрушке», по «Соловью» и др. вещам. Париж также его прекрасно знает по постановкам С. П. Дягилева. Испанец Пикассо — в живописи, русский Стравинский — в музыке, видите ли, столпы европейского искусства. На концерт Стравинского я не пошел. Он играл нам у Леона. Играл «Соловья», «Марш», «Два соловья», «Соловей и богдыхан», а также последние вещи: «Испанский этюд» для пианолы, «Свадебку» — балет с хором, идущий весной у Дягилева, и куски из оперы «Мавра».

Не берусь судить. На меня это не производит впечатления. Он числится новатором и возродителем «барокко» одновременно! Мне ближе С. Прокофьев — дозаграничного периода. Прокофьев стремительных, грубых маршей.

ШЕСТЕРКА

Сами французы говорят, что французская музыка живет под нашим сильнейшим влиянием. Главным образом под влиянием нашей «пятерки». В противовес ей и в уважение, очевидно, парижские музыканты-модернисты объединились в шестерку. Некоторые уже отошли, но название держится. Это: Орик, Пуленк, Мильо, Онеггер, Дюре, Тайфер. Интересующихся ими специально отсылаю к статье о них Лурье в последнем номере журнала «Запад». Чтобы не говорить неверно о незнакомом предмете, ограничиваюсь перекличкой.

ЛИТЕРАТУРА

И старая литература Франции, и сегодняшняя «большая» французская литература нам хорошо известны. Кажется, нет сейчас сборника, нет журнала, в котором не появлялись бы куски Анатоля Франса, Барбюса, Ромена Роллана. Просто «художественную» академическую литературу типа Бенуа также во множестве выпускает «Всемирная литература» и поразведшиеся за последнее время многие частные издательства. Здесь меня интересует бытовая сторона сегодняшней парижской литературы. Здесь, конечно, только черточки — чересчур краткое пребывание.

ПОКАЖИТЕ ПИСАТЕЛЯ!

Я обратился к моим водителям с просьбой показать писателя, наиболее чтимого сейчас Парижем, наиболее увлекающего Париж. Конечно, два имени присовокупил я к этой просьбе: Франс и Барбюс. Мой водитель «знаток», украшенный ленточкой Почетного легиона, поморщился:

— Это интересует вас, «коммунистов, советских политиков». Париж любит стиль, любит чистую, в крайности — психологическую литературу. Марсель Пруст — французский Достоевский, — вот человек, удовлетворяющий всем этим требованиям.

Это было накануне смерти Пруста. К сожалению, через три дня мне пришлось смотреть только похороны, собравшие весь художественный и официальный Париж, последние проводы этого действительно большого писателя.

Мои шансы видеть Франса и Барбюса увеличились. Получив карточку к Франсу (странная комбинация: Маяковский — к коммунисту Франсу с карточкой какого-то архиправого депутата), мчу, — но Франс в Туре, а Барбюс, по газетам, в Питере.

Вместо всего просимого получаю Жана Кокто — моднейшего сейчас писателя-парижанина.

КОКТО

Кокто — бывший дадаист, поэт, прозаик, теоретик, пайщик «Эспри нуво», критик, драмщик, самый остроумный парижанин, самый популярный, — даже моднейший кабачок окрещен именем его пьесы «Бык на крыше». Как «провинциал» я первым делом спросил о группировках, о литературных школах Парижа. Кокто сообщил мне вразумительно, что таковых в Париже не имеется. «Свободная личность, импровизация — вот силы, двигающие Францию вообще и литературу в частности». (Генерал Галлиени, остроумнейшим маневром, вдохновением спасший Париж от немцев, до сих пор у всех примером.) «Школы, классы, — пренебрежительно заметил Кокто, — это варварство, отсталость». Бешеным натиском мне удалось все-таки получить характеристики, в результате чего оказалось, что прежде всего существует даже «школка Кокто».

Отсутствие школ и течений – это не признак превосходства, не характеристика передового французского духа, а просто «политическая ночь», в которой все литературные кошки серы. Это не шагнувшая вперед литература, а наш реакционнейший, упадочный 907–908 год. Даже при первом Феврале все эти кошки получат свою определенную масть.

Вот первые признаки расцветки.

МАСТИ
Группа Клартэ, образовавшаяся еще во время войны, близкая нам, коммунистическая, во главе с Ан. Франсом, Барбюсом, Полем Ребу. Издает журнал «Клартэ». Совершенно непопулярная в салонах и так же «совершенно» популярная в рабочих французских кругах.

Группа унанимистов. Это наши символисты, но в «мировом масштабе»; к ним же отошла «залитературившаяся» часть Клартэ. Во главе этой группы – Жюль Ромен, Дюамель и др.

Центр – группа неоклассиков. Акцион – группа интеллигентов (по выражению самих французов – не ругательно); это – вся масса охранителей и ревнителей французской классической литературы.

И, наконец, самая правая группа – роялисты, во главе с Полем Валери. Поэты этой группы, даже разбивая синтактическую расстановку в стихе, разбирают сначала – соответствует ли таковая роялистским принципам.

После этого роялизма, думаю, и Кокто придется умолкнуть о внеклассовой литературе.

[1923]

СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Смотр – иначе не назовешь мое семидневное знакомство с искусством Франции 22-го года.

За этот срок можно было только бегло оглядеть бесконечные ряды полотен, книг, театров.

Из этого смотра я выделяю свои впечатления о живописи. Только эти впечатления я считаю возможным дать книгой: во-первых, живопись – центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись оказывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись – она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка, в-четвертых, беглость осмотра в большой степени искупается приводимыми в книге снимками и красочными иллюстрациями новейших произведений живописи. Я считаю уместным дать книге характер несколько углубленного фельетона. Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия «объемов и линий», сколько живая жизнь пишущего Парижа. Разница идей сегодняшней французской и русской живописи. Разница художественных организаций. Определение по живописи и по встречам размеров влияния Октября, РСФСР, на идеи новаторов парижского искусства. Считаю нужным выразить благодарность Сергею Павловичу Дягилеву, своим знанием парижской живописи и своим исключительно лояльным отношением к РСФСР способствовавшему моему осмотру и получению материалов для этой книги.

Вл. Маяковский
О ЧЕМ?
Эта книга о парижской живописи + кусочки быта.

До 14 года не стоило выпускать подобной книги.

В 22 году – необходимо.

До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.

Российские академии художеств слали своих лауреатов доучиваться в Париж.

Любой художник, побывший год в Париже и усвоивший хотя бы только хлесткость парижских картиноделателей, – удваивался в цене.

Меценаты России, напр., Щукин, совершенно не интересовались современной русской живописью, в то же время тщательно собирали искусство парижан.

Париж знали наизусть.

Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло!

Сегодня – другое.

Больше знаем полюсы, чем Париж.

Полюс – он без Пуанкарей, он общительнее.

Еще политика и быт – описываются.

Товарищи, на неделю тайно въехавшие во Францию на съезд партии, на съезд профсоюзов, набрасываются на эти стороны французской жизни.

Искусство – в полном пренебрежении.

А в нем часто лучше и яснее видна мысль, виден быт сегодняшней Франции.

ИСКУССТВО ПАРИЖА
До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.

Париж приказывал:

«Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!» И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.

Париж выдвигал:

«Считать Пикассо патриархом кубизма!» И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.

Париж прекращал:

«Футуризм умер!» И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское «да-да», так и называлось: парижская мода.

Критики газет и журналов (как всегда, художники, отчаявшиеся выдвинуться в живописи) были просто ушиблены Парижем.

Революция, изобретения художников России были приговорены заочно к смерти: в Париже это давно и лучше.

Вячеслав Иванов так и писал о выставке первых русских импрессионистов – «Венок» (1907 г.) Д. Бурлюка:

Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.
Дело доходило до живописных скандалов.

В 1913 году в Москве открылась совместная выставка французских и русских художников. Известный критик «Утра России» Ал. Койранский в большой статье о выставке изругал русских художников жалкими подражателями. В противовес критик выхвалял один натюрморт Пикассо. По напечатании статьи выяснилось, что служитель случайно перепутал номера: выхваляемая картина была кисти В. Савинкова – начинающего ученичка. Положение было тем юмористичнее, что на натюрморте

нарисованы были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо. Это был единственный случай возвеличения русских «подражателей». Это было единственное низведение знаменитого Пабло в «жалкие». Было до того конфузно, что ни одна газета не поместила опровержения. Даже при упоминании об этом «недоразумении» на живописных диспутах Бубнового Валета – подымался всеми приближенными невообразимый шум, не дающий говорить.

Достаточно было раструбить по Парижу славу художественного предприятия – и беспрекословный успех в Америке обеспечен.

Успех – доллары.

Еще и сейчас Парижу верят.

Разрекламированные Парижем, даже провалившиеся в нем, напр. театр «Летучей мыши» Балиева, выгребают ведрами доллары из янки.

Но эта вера стала колебаться.

С тревогой учитывает Париж интерес Америки к таинственной, неведомой культуре РСФСР.

Выставка русской живописи едет из Берлина по Америке и Европе. Камерный театр грозит показать Парижу неведомые декоративные установки, идеи российских конструктивистов приобретают последователей среди первых рядов деятелей мирового искусства.

На месте, в РСФСР, в самой работе, не учтешь собственного роста.

Восемь лет Париж шел без нас. Мы шли без Парижа.

Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если мы опять окажемся только Чухломою?

ЖИВОПИСЬ
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.

В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый «парижский шик».

В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами – самое видное, самое нарядное искусство.

Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.

В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.

Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.

Рыбный ресторан – почему-то весь в пейзажах Пикабиа.

Каждый шаг – магазин-выставка.

Огромные домища – соты-ателье.

Франция дала тысячи известнейших имен в живописи.

На каждого с именем приходится тысяча, имеющих только фамилию. На каждого с фамилией приходятся тысячи – ни имя, ни фамилия которых никого не интересуют, кроме консьержки.

Нужно заткнуть уши от жужжания десятка друг друга уничтожающих теорий, нужно иметь точное знакомство с предыдущей живописью, чтобы получить цельное впечатление, чтобы не попасть во власть картинок – бактерий какой-нибудь не имеющей ни малейшего влияния художественной школы.

Беру довоенную схему: предводитель кубизм, кубизм атакуется кучкой красочников «симультанистов», в стороне нейтралитет кучки беспартийных «диких», и со всех сторон океаном полотнища бесчисленных академистов и салонщиков, а сбоку — бросающийся под ноги всем какой-нибудь «последний крик».

Вооруженный этой схемой, перехожу от течения к течению, от выставки к выставке, от полотна к полотну. Думаю — эта схема только путеводитель. Надо раскрыть живописное лицо сегодняшнего Парижа. Делаю отчаянные вылазки из этой схемы. Выискиваю какое-нибудь живописное открытие. Жду постановки какой-нибудь новой живописной задачи. Заглядываю в уголки картин — ищу хотя бы новое имя. Напрасно.

Все на своих местах.

Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.

По-прежнему центр — кубизм. По-прежнему Пикассо — главнокомандующий кубистической армией.

По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» наиприятнейший зеленоватый Брак.

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче — объему.

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.

По-прежнему «дикие» Дерен, Матисс делают картину за картиной.

По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».

И по-прежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.

Это видно ясно каждому свежеприехавшему.

Это чувствуется и сидящими в живописи.

С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.

Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, о РСФСР.

Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.

Не конструктивизм художников, которые из хороших и нужных проволок и жести делают ненужные сооруженьица. Конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерию, нужную для оформления всей нашей практической жизни.

Здесь художникам-французам приходится учиться у нас.

Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место. Нужна октябрьская метла.

А какая почва для французского искусства? — Паркет парижских салонов!

ОСЕННИЙ САЛОН
2395 номеров (не считая художественной промышленности).

А ведь Осенний салон — это только одна из многочисленных выставок Парижа.

Считая в году приблизительно 4 выставки, это 10 000 картин. Примите во внимание,

что выставляется не более 10 % производства. Получится солидная цифра: 100 000 ежегодных картин.

Еще сто лет — и у каждого француза будет собственный Луврик. Луврики — больше ничего, самые здоровые, самые молодые люди вместо работы сидят и удваивают свое имущество сомнительным живописным путем. Раньше была одна жена, а теперь две: одна в натуре, другая на картинке (как живая!), а живая и работать не может, потому что позирует. Раньше была одна собачка, а теперь две, и т. д. и т. д.

Слабоватая промышленность!

Хотя, может быть, и это имеет значение: посещение Салона дает иллюзию занятий бесконечным выфранченным бездельникам.

Все время существования Салона — тысячные толпы.

Прохожу раз по бесчисленным комнатам, просто чтобы найти вещь, приковывающую гуляющее внимание парижан.

Только в одном месте настоящая давка, настоящая толпа.

Это номер 870, картина художника японца Фужита — «Ню». Разлегшаяся дама. Руки заложены за голову. Голая. У дамы открытые настежь подмышки. На подмышке волосики. Они-то и привлекают внимание. Волосики сделаны с потрясающей добросовестностью. Не каким-нибудь общим мазком, а каждый в отдельности. Прямо хоть сдавай их на учет в Центрощетину по квитанции. Ни один не пропадет — считанные.

Еще одна толпа, уже меньше. Сюжет не такой интересный. Это 1885 номер. Елена Пердрио. Тоже дама, но в рубашке. Рубашка сеткой. Вот эту сетку, сделанную бог весть чем, но, безусловно, чем-то самым тонким, и рассматривают.

Мимо остального плывут плавно.

Прохожу еще раз медленно, хочу, чтобы меня остановила сама живопись. Но живопись висит спокойно, как повешенная. Приходится прибегнуть к каталогу, стараясь по именам искать картины.

Ищу кубистов.

Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно. Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды. Гладенький-гладенький. Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном.

Леже. Его сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом. Но и его антиэстетизм, в его мастерской кажущийся революционной силой, здесь тоже рассалонен и выглядит просто живописной манеркой.

Смотришь на соседние, уже совсем приличные академические картинки и думаешь: если все это вставить в одну раму и чуточку подтушевать края, не сольется ли все это в одну благоприличную картиночную кашу? Кубизм стал совсем комнатным, совсем ручным.

Нажегшись на школах, перехожу к отдельным.

Матисс. Дряблый. Незначительный. Головка и фигурка… Испытываю легкую неприятность, будто стоишь около картинок нашего отечественного Бодаревского.

Ван-Донжен. Картина «Нептун». Еще невероятнее: оперный старик с трезубцем. Желто-зеленого цвета — яичница с луком. Сзади пароход. Плохонькая живопись, дешевенькая аллегорийка.

Остальное еще унылее.

Некоторое исключение представляет Пикабиа. Его картина — «Принцип французской живописи» — черный мужчина на белом фоне и белая женщина на черном фоне — интересна. Но это формализм даже по заданию. Во всяком случае, это не разрешение

задачи живописью.

Из «национальной вежливости» разыскиваю русских. Нелегкое занятие. Уже найдя, должен не выпускать его из глаз ни на минуту (лучше всего держаться рукой за раму), а то сейчас же забудешь и спутаешь с соседом.

Григорьев. Хороший? Нет. Плохой? Нет. Какой же он? Какой был, такой и есть. Повернет карандаш боком и водит по бумаге. От долгой практики выучился таким образом всякие фигурки делать. А так как кисть уже сама по себе повернута боком, то тут на манере не отыграешься, приходится сюжетом брать. Какой же может быть сюжет для нашего тамбовца, приехавшего в первый раз в Париж? Разумеется, Монмартр и апаши. Мне скучно. Скучно французам. Григорьеву тоже. Ноет: в Москву! Интересуется: пустят ли? Напоминаю ему картинку его на какой-то заграничной выставке — какая-то непроходимая физиономия, и подпись — комиссар. Григорьев кается: это я нашего парижского фотографа рисовал, а название «комиссар» ему уже на выставке устроители для эффекта присовокупили.

Хороший пример высасывания из пальца антисоветской агитации.

Шухаев. Академическая баба. Думаю, как это он за это время успел в Африку съездить. Баба самая реальная, черная негритянка. Приглядываюсь. Оказывается, ошибся. Это тени наложены. Этим и славится — светотенью.

Яковлев. Портрет. Сидит дама. Живая. В руках и на столе книжки: Кузмин «Вторник Мери», Ахматова «Подорожник». Заглавийки книжек выведены с потрясающей добросовестностью. Удивительно. Зачем делать от руки то, что можно напечатать (на то и Европа, на то им и техника). По причине избегания ими меня сей вопрос остался невыясненным.

До полного цинизма дошел Сорин. Портрет Павловой. Настоящий куаферо-маникюрщик. Раскрашивает щечки, растушевывает глазки, полирует ноготочки. Раньше привлекали вывески — «Парикмахер Жан из Парижа», теперь, очевидно, привлекают — «Парикмахер Савелий из Петербурга».

Адмирал Битти заказал ему портрет. Недалеко уедешь там, где вкусом правит этакий адмирал. Хорош был бы английский флот, если бы адмиралов к нему подбирал Сорин.

Я знаю, эстеты Парижа, русские тоже, обидятся на мой «отчет» Сам, мол, столько говорил о форме, а подходит со стороны сюжетца, как старый репортер «Биржевки».

Скажут:

Вы, говорящий о нашем стоянии, разве вы не видите это совершенство работы, это качество: Qualitè[2] (модное сейчас словечко французов). Может быть, в вашей Чухломе есть лучшие мастера картин?! Назовите! Покажите!

О нет! Я меньше, чем кто-нибудь из русских искусства, блещу квасным патриотизмом. Любую живописную идею Парижа я приветствовал так же, как восторгаюсь новой идеей в Москве. Но ее нет!

Я вовсе не хочу сказать, что я не люблю французскую живопись. Наоборот.

Я ее уже любил. От старой любви не отказываюсь, но она уже перешла в дружбу, а скоро, если вы не пойдете вперед, может ограничиться и простым знакомством.

Посмотрите приводимые здесь иллюстрации Салона. Они взяты из проспекта, даваемого при каталоге, ясно подчеркивая гордость выставки.

Обычное ню, где интерес голизны не менее живописного интереса.

Приглаженный, красивенький быт идеализированных рыбаков.

Пейзаж до Сезанна и до Ван-Гога.

Композиция: Матисс в ботичеллевской обработке, и т. д.

Но, конечно, российское производство картинок не ровня парижскому. Париж выше на много голов. Париж первый.

Конечно, я отдал бы весь наш бубнововалетский стиль за одну вариацию из этого цикла Пикассо или Брака.

Дело не в этом.

Дело в том, что время выдвинуло вопрос о существовании картинок. И их мастеров вообще. Выдвинуло вопрос о существовании общества, удовлетворяющегося художественной культурной украшения картинами Салона. Эта культура уже изжила себя. Я охотно отдаю французам первенство в писании картин.

Я говорю: наши пентры должны бросить писать картины, потому что французы пишут лучше. Но и французы должны бросить писать, потому что они лучше не напишут.

Мелкота картиночной работы выступает со всей ясностью, когда от картин Салона переходишь к промышленно-художественному отделу.

Здесь тоже номеров пятьсот.

Книжные обложки. Драгоценнейшие. Под стеклом. Пергаменты. На всех тоненькие виньеточки и рисуночки. Многоцветные. Костер, золотой, от него голубенький дымок, разворачивающий загогулинки по всей книге, а на фоне розовые облачишки. И никакой работы ни над новым шрифтом, ни над ясностью, ни над старанием типографски подчеркнуть сказанное в книге.

Вот убранство квартирок, столики и шкафики в ампире. На дверцах бронзовые веночки, со шкафов и с полочек спущена парча с бурбонскими лилиями. На подставочке, разумеется, бюст Наполеона. И все в этом стиле. Никакого придумывания, никакого изобретения, никакой конструкции. Механическое варьирование обломков старых, великих, но изживших себя и ненужных стилей.

Попробуй, обставь дом — общежитие на тысячи рабочих — этими шкафиками.

С удовольствием выхожу из салонного гроба к автомобилям Елисейских полей.

Салоном не исчерпывается французская живопись. Это средний обывательский вкус.

Чтобы знать водителей вкуса, нужно пройти по галереям частных торговцев и по мастерским художников.

Эстеты кричат о свободе творчества! Каждый ребенок в Париже знает, что никто не вылезет к славе, если ее не начнет делать тот или иной торговец. Этот торговец всесилен. Даже Салон подбирает он. Так и делятся художники и картины. Это художники Симона, это художники Леона.

КУПЦЫ

Париж весь кишит художественными лавочками. Осматриваю две наиболее значительные из них, — это лавочка Симона Розенберга и Леона Розенберга. Конечно, французское ухо резали бы эти слова — купец, лавочка. Для него эти купцы — носители вкуса, носители художественных идей Франции. Лучшие картины художников отдаются этим купцам. У них выставлены лучшие Пикассо, лучшие Браки и т. д. Большинство приводимых мной иллюстраций — снимки с ихних галерей.

Эти купцы делают славу художникам. Это они намечают гения, покупают у него картины за бесценок, скапливают их в своих подвалах и после смерти через тысячи состоящих на службе рецензентов раструбливают славу умерших и за многие десятки и сотни тысяч франков распродают шедевры.

Эти купцы поддерживают славу Пикассо. Эти купцы заставляют изо дня в день интересоваться им весь мир. Это купец, в отместку другому купцу, вдруг начинает выдвигать какого-нибудь молодого Сюрважа и каждой пришедшей даме, покровительнице искусств, каждому пришедшему коллекционеру старается в лучшем освещении, с лучшими рекомендациями, с передачей лучших отзывов показать какую-нибудь весьма сомнительную картинку. Если нет живых, купцы извлекают мертвых.

Злые языки утверждают, что повышенный интерес к Энгру, этому посредственному ложноклассическому рисовальщику, объясняется тем, что у одного из этих Леонов

скопилось большое количество рисунков. Во французском искусстве сразу поворот к классицизму. Это, конечно, схематическое, памфлетное изображение настроений, но франк в этой схеме все же играет первенствующую роль. Для этих купцов, или чтобы перепрыгнуть через них, прорваться сквозь их блокаду, работают все французские художники.

МАСТЕРСКИЕ

Чтобы понять действительные двигающие силы того или другого направления, того или другого художника, надо пройти закулисную лабораторию — мастерские. Здесь искание, здесь изобретаются направления, здесь в отдельных штрихах, в отдельных мазках еще можно найти элементы революционного искусства, сейчас же за дверью ателье тщательно обрезываемого вкусом Салона, вкусом купца. Здесь настоящая борьба художников, борьба направлений; здесь Пикассо небрежным кивком отстраняет вопросы о Делонэ; здесь Делонэ с пеной у рта кроет «спекулянтом» Пикассо; здесь видишь то, чего никогда не увидишь в магазинчиках.

ПИКАССО

Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо. Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень — это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью: «Возврат к классицизму». В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих «чудачеств», то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, а не просто и добросовестно переходят к копированию природы.

Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками — конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово «классицизм» — утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а претворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности.

Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю: неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают и которая только предназначается для висенья и для услаждения собственных глаз художника?

Вот в каталоге русский Татлин Он давно уже зовет к переходу художников, но не к коверканию прекрасной жести и железа, а к тому, чтобы все это железо, дающее сейчас безвкусные постройки, оформилось художниками.

— Почему, — спрашиваю, — не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.

Пикассо молча покачивает головой.

— Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре.

— Плюньте на сержантов, — советую я ему, — возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!

У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза

Пикассо, уже, очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает «быт».

ДЕЛОНЭ

Делонэ — весь противоположность Пикассо. Он симультанист. Он ищет возможности писать картины, давая форму не исканием тяжестей и объемов, а только расцветкой. (Это духовный отец наших отечественных Якуловых.) Он весь в ожесточении. Кубизм, покрывший все полотна французских живописцев, не дает ему покоя. Купцы не охотятся за ним. Ему негде и не для чего приобретать классицизм. Он весь, даже спина, даже руки, не говоря о картинах, в лихорадочном искании. Он видит — невозможно пробить стены вкуса французских салонов никакими речами, и какими-то косыми путями подходит тоже к революции. В картинах, разворачиваемых им, даже старых, 13 и 14 года, например, известной всем по снимкам Эйфелевой башни, рушащейся на Париж, между буревыми облаками, он старается найти какое-то предчувствие революции.

С завистью слушает он рассказы о наших праздниках, где художнику дается дом, где направлению дается квартал, и художник его может расфантазировать так, как ему хочется. Идея эта близка ему. Его картины даже в его мастерской выглядят не полотнами, а стенами, настолько они многосаженные. Его расцветка иллюминаций так не нужна, так не подходяща к серым стенам мастерской, но ее не вынесешь на улицу: кроме сержанта через дорогу еще и серое здание Академии художеств, откуда, по утверждению Делонэ, при проходе на него замахиваются кулаками.

Художественными путями он тоже пришел к признанию величия русской революции. Он пишет какие-то десятки адресов с просьбой передать, корреспондировать, обмениваться с ним художеством России. Он носится с мыслью приехать в РСФСР, открыть какую-то школу, привезти туда в омолаживание живопись французов.

А пока что и к его ноге привязано ядро парижского быта, и он разрешает вспышки своего энтузиазма раскрашиванием дверей собственного ателье. Тоже кусок жизни.

Не думаю, чтоб он делал это «от души». Во всяком случае, он определенно завидовал моему возврату в страну революции, он просил передать привет от революционеров французского искусства русским, он просил сказать, что это — те, кто с нами, он просил русскую московскую аэростанцию принять в подарок два его огромных полотна, наиболее понравившихся мне: цветной воздух, рассекаемый пропеллерами.

БРАК

Брак — самый продающийся (фактически, а не иносказательно) художник Парижа. Во всем — в обстановке, фигуре старание охранить классическое достоинство центра. Он все время балансирует, надо отдать ему справедливость — с большим вкусом, между Салоном и искусством. Темперамент революционного французского кубизма сдавлен в приличные, принимаемые всеми формы. Есть углы, но не слишком резкие, кубистические. Есть световые пятна, но не слишком решительные и симультанистические. На все мои вопросы, а что же можно было бы получить из последнего, чтобы показать России, у него горделивое извинение: «Фотографий нет, у купца такого-то… Картин нет, извиняюсь, проданы». Этому не до революции.

ЛЕЖЕ

Леже — художник, о котором с некоторым высокомерием говорят прославленные знатоки французского искусства, — произвел на меня самое большое, самое приятное впечатление. Коренастый, вид настоящего художника-рабочего, рассматривающего свой труд не как божественно предназначенный, а как интересное, нужное мастерство, равное другим мастерствам жизни. Осматриваю его значительную живопись. Радует его эстетика индустриальных форм, радует отсутствие боязни перед самым грубым реализмом. Поражает так не похожее на французских художников мастеровое отношение к краске — не как к средству передачи каких-то воздухов, а как материалу, дающему покраску вещам. В его отношении к российской революции тоже отсутствие эстетизма, рабочее отношение. Радует, что он не выставляет вперед свои достижения и достиженьица, не старается художественно втереть вам очки своей революционностью, а, как-то отбросив в сторону живопись, расспрашивает о революции русской, о русской жизни. Видно, что его восторг перед революцией не художественная поза, а просто «деловое» отношение. Его интересует больше не вопрос о том, где бы и как бы он мог выставиться по приезде в Россию, а технический вопрос о том, как ему проехать, к чему в России его уменье может быть приложено в общем строительстве.

Как только я заикнулся о том, что товарищей моих может заинтересовать его живопись, то увидел не дрожащего над своими сокровищами купца-художника, а простое:

– Берите всё. Если что через дверь не пролезет, я вам через окно спущу.

– До свидания, – выучился он по-русски на прощание, – скоро приеду.

Этими вот четырьмя перечисленными художниками исчерпываются типы художников Парижа.

ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ
Русские художники не играют, во всяком случае об этом не говорят, особой роли в живописи Франции. Правда, влияние их несомненно. Когда смотришь последние вещи Пикассо, удивляешься красочности, каким-то карусельным тонам его картин, его эскизов декораций. Это несомненно влияние наших красочников Гончаровой и Ларионова. Высокомерное отношение победившей Франции к каким-то не желающим признавать долгов русским сказывается и в этом. Не хотим считаться ни с какими фактами. Париж во всем лучше.

В лавках купцов Парижа вы не найдете картин Гончаровой или Ларионова. Зато на заграничных выставках, при свободной конкуренции, в Америке, в Испании или в Голландии – сразу бросается в глаза непохожесть этих русских, их особенный стиль, их исключительная расцветка. Поэтому они продаются в Америке. Поэтому у Гончаровой десятки учеников американцев и японцев, и, конечно, хочет-не хочет Пикассо, а влияние русской живописи просачивается. Но когда дело переходит на работу в Париже, сразу видишь, как художественный темперамент этих русских облизывают салоны. Их макеты и костюмы до неприятности сливаются с Бакстом.

Радует отношение этих художников к РСФСР, не скулящее и инсинуирующее отношение эмигрантов. Деловое отношение. Свое, давно ожидаемое и ничуть не удивившее дело. Никаких вопросов о «сменах вех». Приезд в Россию – техническая подробность.

Приятно констатировать на этом примере, что революционеры в области искусства остаются таковыми до конца.

БАРТ
Если высокомерное отношение Франции не отразилось на Ларионове и Гончаровой, сумевших продвинуться в другие страны, то русским без энергии Париж – крышка. Я был в мастерской Барта, очень знакомого нам художника до войны, человека серьезного, с большим талантом, – в его крохотном поднебесном ателье я видел десятки работ несомненно интересных и по сравнению с любым французом.

Он голоден. Ни один купец никогда не будет носиться с его картинами.

Эта группа уже с подлинным энтузиазмом относится к РСФСР. Барт рассказывает мне грустную повесть о том, как он был единственным офицером, не соглашавшимся после Октября с культурной манерой французов хоронить не желающих идти против революционной России в африканских ямах. Худоба и нервное подергивание всем телом – доказательство результатов такого свободолюбия. Эти, конечно, нагрузившись жалким скарбом своих картин, при первой возможности будут у нас, стоит только хоть немножко рассеять веселенькие французские новеллы о том, что каждый переехавший русскую границу не расстреливается ГПУ только потому, что здесь же на границе съедается вшами без остатка.

ВЫВОД
Начало двадцатого века в искусстве – разрешение исключительно формальных задач.

Не мастерство вещей, а только исследование приемов, методов этого мастерства.

Поэты видели свою задачу только в исследовании чистого слова: отношение слова к слову, дающее образ, законы сочетания слова со словом, образа с образом, синтаксис, организация слов и образов – ритм.

Театр – вне пьес разрешается формальное движение.

Живопись: форма, цвет, линия, их разработка как самодовлеющих величин.

Водители этой работы были французы.

Если взять какую-нибудь отвлеченную задачу – написать человека, выявив его форму простейшими плоскостными обобщениями, – конечно, здесь сильнее всех Пикассо.

Если взять какое-то третье измерение натюрморта, показывая его не в кажущейся видимости, а в сущности, развертывая глубину предмета, его скрытые стороны, – конечно, здесь сильнейший – Брак.

Если взять цвет в его основе, не загрязненной случайностями всяких отражений и полутеней, если взять линию как самостоятельную орнаментальную силу, – сильнейший – Матисс.

Эта формальная работа доведена была к 15 году до своих пределов.

Если сотню раз разложить скрипку на плоскости, то ни у скрипки не останется больше плоскостей, ни у художника не останется неисчерпанной точки зрения на эту живописную задачу.

Голый формализм дал все, что мог. Больше при современном знании физики, химии, оптики, при современном состоянии психологии ничего существенного открыть (не использовав предварительно уже добытого) нельзя.

Остается или умереть, перепевая себя, или…

Остается два «или».

Первое «или» Европы: приложить добытые результаты к удовлетворению потребностей европейского вкуса. Этот вкус не сложен. Вкус буржуазии. Худшей части буржуазии – нуворишей, разбогатевших на войне. Нуворишей, приобретших деньги, не приобрев ни единой черточки даже буржуазной культуры. Удовлетворить этот вкус может только делание картин для квартиры спекулянта-собственника, могущего купить «огонь» художника для освещения только своего салона (государство не в счет, оно плетется всегда в хвосте художественного вкуса, да и материально не в состоянии содержать всю эту живописную армию). Здесь уже не может быть никакого развития. Здесь может быть только принижение художника требованием давать вещи живописно не революционнее Салона. И мы видим, как сдается Брак, начиная давать картины, где благопристойности больше, чем живописи; мы видим, как Меценже от кубизма переходит к жанровым картинкам с красивенькими Пьерро.

Мы видим гениального Пикассо, еще продолжающего свои работы по форме, но уже сдающегося на картиноделание, пока еще полностью в своей манере, но уже начинаются уступки, и в его последних эскизах декораций начинает удивлять импотенция приличного академизма.

Нет, не для делания картинок изучали лучшие люди мира приемы расцветки, иллюминирования жизни. Не к салонам надо прикладывать свои открытия, а к жизни, к производству, к массовой работе, украшающей жизнь миллионам.

Но это уже второе «или» – «или» РСФСР. «Или» всякой страны, вымытой рабочей революцией. Только в такой стране может найтись применение, содержание (живописное, разумеется, а не бытовое) всей этой формальной работе. Не в стране буржуазной, где производство рассматривается капиталистом только как средство наживы, где нельзя руководить вкусом потребителя, а надо ему подчиняться. А в стране, где производят одновременно для себя и для всех, где человек, выпустивший какие-нибудь отвратительные обои, должен знать, что их некому всучить, что они будут драть его собственный глаз со стен клубов, рабочих домов, библиотек.

Это оформление, это – высшая художественная инженерия. Художники индустрии в РСФСР должны руководиться не эстетикой старых художественных пособий, а эстетикой экономии, удобства, целесообразности, конструктивизма.

Но это второе «или» пока не для Франции.

Ей нужно сначала пройти через большую чистку французского Октября.

А пока, при всей нашей технической, мастеровой отсталости, мы, работники искусств Советской России, являемся водителями мирового искусства, носителями авангардных идей.

Но… это все еще из теории должно перейти в практическое воплощение, а для этого надо еще поучиться, и в первую очередь у французов.

[1923]

ПАРИЖСКИЕ ПРОВИНЦИИ

Раньше было так: была в России провинция, медвежьи углы и захолустье. Где-то далеко были российские столицы – широкие, кипящие мировыми интересами. А совсем над всеми был Париж – сказочная столица столиц.

И здесь, как и во всем, Октябрьской революцией сделан невероятный сдвиг.

Мы даже не заметили, как наши провинциальные города стали столицами республик Федерации, как городки стали центрами огромной революционной культуры и как Москва из второсортных городов Европы стала центром мира.

Только в поездке по Европе, в сравнении, видишь наши гулливеровские шаги.

Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем.

Все черты бывшей нашей провинции налицо:

Во-первых, страшно куцее, ограниченное поле зрения, узкий круг интересов. Как раньше какое-нибудь Тьмутараканье смотрело, только чтоб его чем-нибудь не перешиб Тьмуклоповск, так теперь у Парижа все взоры только на Берлин, только на Германию. Лишь бы Пуанкаре не помешали отдыхать на его Версальских лаврах. Лишь бы Германии не стало лучше.

Во-вторых, провинциальная, самая затхлая сплетня: кому сейчас в Москве придет в голову интересоваться, курица или телятина была сегодня у Иванова в супе? – а в Париже мои случайные знакомые лучше знали, сколько я получаю в России построчных, нежели даже я сам Париж – пристанище мировой эмиграции. Эмиграция, что ли, эту гадость рассадила!

В-третьих – разевание рта на столичных, – так сейчас Париж разевается на москвичей. Обладатель нашей красной паспортной книжечки может месяц оставаться душой парижского общества, ничего не делая, только показывая эту книжечку. А если дело дойдет до рассказов, то тут и за 10 часов не оторвешь.

И во всем боязнь: как бы Москва не переинтересовала Париж и не выхватила бы влияние на американцев и их… доллары. А это уже начинается!

И, наконец, древнепровинциальное обжорство! Нам, выучившимся и любящим насыщаться еще и хлебом работы, нам, привыкшим довольствоваться – пока – самым необходимым, нам, несмотря ни на какой голод не предающим своих идей и целей, – нам просто страшно смотреть на общую, знаемую всеми и никем не прекращаемую продажность, на интерес огромных кругов, упертый только в еду – в кафе и трактиры.

Но – возразят – есть ведь и во Франции пролетариат, революционная работа. Есть, конечно, но не это сегодня создает лицо буржуазного Парижа, не это определяет его быт.

Хорошо – скажут – но ведь есть огромная культура Франции! Есть, конечно, вернее, не «есть», а «была со времени войны эта культура или стала, или выродилась в истребляющую пропаганду империализма.

Я обращался ко всем моим знакомым с просьбой указать какую-нибудь стройку, какое-нибудь мирное сооружение последних лет, которое можно было бы поставить в плюс французам. Нет!

Но, конечно, все сказанное мною относится главным образом к духовной опустошенности, к остановке роста. В материальной культуре Франции, даже во

вчерашней, есть на что разинуть рот, есть чему поучиться. Взять хотя бы огромный аэродром Бурже под Парижем, с десятками грандиозных эллингов, с десятками огромных аэропланов, ежедневно отлетающих и в Лондон, и в Константинополь, и в Цюрих! Но это подготовка и работа веков. Для России, разгромленной голодом и войной, придавленной всей предыдущей безграмотностью, ничуть не меньший факт — первая электрическая лампочка в какой-нибудь деревне Лукьяновке.

Учись европейской технике, но организуй ее своей революционной волей — вот вывод из осмотров Европы.

[1923]

СЕГОДНЯШНИЙ БЕРЛИН

Я человек по существу веселый. Благодаря таковому характеру я однажды побывал в Латвии и, описав ее, должен был второй раз уже объезжать ее морем.

С таким же чувством я ехал в Берлин.

Но положение Германии (конечно, рабочей, демократической) настолько тяжелое, настолько горестное — что ничего, кроме сочувствия, жалости, она не вызывает.

Уже в поезде натыкаешься на унизительные сцены, когда какой-нибудь зарвавшийся француз бесцеремонно отталкивает от окна стоявшую немку — ему, видите ли, захотелось посмотреть вид! И ни одного протеста — еще бы: это всемогущие победители.

Здесь наглядно видишь, какой благодарностью к Красной Армии должно наполниться наше сердце, к армии, не давшей сесть и на нашу шею этим «культурным» разбойникам.

При въезде в Берлин поражает кладбищенская тишь. (Сравнительно.) Прежде всего результаты того же Версальского хозяйничанья. Например, около Берлина есть так называемое «Кладбище аэропланов» — это новенькие аэропланы, валяющиеся, ржавеющие и гниющие: французы ходили с молотками и разбивали новенькие моторы!

Так во всем. Конечно, не удивляешься, что постепенно тухнут, темнеют и омертвечиваются улицы, из-под рельс начинает прорастать трава, пунктуальность, размеренность жизни — дезорганизуется.

Рядом с этими внешними причинами страшная внутренняя разруха!

У прекрасного берлинского художника Гросса есть рисунок — что будет, когда доллар дойдет до 300 марок: нарисована полная катастрофа. Легко понять, что делается в Германии сейчас, если принять по внимание, что этот самый доллар стóит уже 26 000 марок!

Доллар это тот термометр, которым мир измеряет тяжкую болезнь германского хозяйства. Отражение этой болезни внутри Германии: страшный рост спекуляции, рост богатства капиталистов с одной стороны и полное обнищание пролетариата с другой. Ни в одной стране нет стольких, до слез расстраивающих, нищих — как в Германии. Отбросы разрухи и обрубки бойни. Понятно поэтому, что Германия наиболее вулканизированная революцией страна. Здесь еженедельно вспыхивают революционные выступления (во время моего пребывания, например, был целый бой у цирка Буша: рабочие выгоняли засевших националистов); ежедневно нарастают различнейшие забастовки — борются все от кондукторов подземной железной дороги до актеров.

Конечно, низкая валюта принесла Германии целый поток иностранцев. Особенно много в Берлине русских эмигрантов — тысяч около двухсот. Целый Вестен (богатая часть Берлина) занят чуть ли не одними этими русскими. Даже центральная улица этого квартала Курфюрстендам называется немцами — «Нэпский проспект».

Эта русская эмиграция уже не старая, не воинственная. Надежды на двухнедельность существования РСФСР рассеялись «аки дым», вывезенные деньжонки порастряслись, все чаще и чаще заворачивают наиболее бедные и наиболее культурные из них (многие бежали ведь просто с перепугу) на Унтер-ден-линден 7, в наше посольство, за разрешениями на возврат в Россию. Да и Германия, разумеется, после

Рапалльского договора, только с нами, с советскими, считается как с настоящими русскими.

Конечно, к России, к единственной стране, подымающей голос против наглого Версальского грабежа, у Германии самое дружеское, предупредительное отношение.

И для нас эта дружба имеет колоссальные выгоды. Разоренная Германия напрягает все усилия на восстановление своего разрушенного хозяйства, поражая по сравнению с Францией своей изобретательностью, своим культурным напряжением. Присмотреться к ней, учиться у ее технического опыта — большая и благодарная задача.

[1923]

АМЕРИКА

ГАВАНА

Америка началась Гаваной. Как только я вступил на землю, полил настоящий тропический дождь. У нас дождь представляет собой массу воздуха с редкими полосками воды; дождь гаванский — это сплошная вода и совершенно незначительные прослойки воздуха.

В Гаване очень трудно ориентироваться — по крайней мере, мне казалось, что все улицы там называются «трафико». Впоследствии, правда, выяснилось, что «трафико» — это просто «направление» по-испански, но как бы то ни было, я никогда не мог найти дороги.

ВЕРА-КРУЦ

Вера-Круц лежит за козерожьим тропиком. На пристани много индейцев, но на головах у них уже не перья птицы кетцаль, а сомбреро, а за спинами — увы! — не колчан со стрелами, а мои чемоданы с последними комплектами «Лефа».

Вера-Круц, пожалуй, самый интересный порт в стране. Первое, на что я обратил внимание, сойдя с парохода, был ярко-красный флаг с серпом и молотом. Оказалось, однако, что это не было отделение нашего полпредства, как я было подумал, а странная организация, известная по всей Мексике, — Проалевская организация неплательщиков за квартиру. Между прочим, я был осажден взволнованными репортерами, решившими, что я прислан Москвой в целях связи и содействия Проалю и его неплательщикам, так как Проаль (однофамилец!) встречал меня на пристани. В Вера-Круце путешественники уже начинают обычно покупать вещи для подарков. Таковыми являются здесь, главным образом, мешки для денег. Объясняется это тем, что мексиканцы не признают бумажных денег, а верят только честному золоту и серебру. Думаю, что поэтому в Мексике так сильно развит бандитизм. Уж очень велик соблазн даже у честных ограбить человека с большим мешком денег за спиной.

МЕХИКО-СИТИ

Столица Мексики — бывшее озеро, окруженное потухшими вулканами. Один из них носит поэтическое название «Спящая женщина», и патриотические мексиканцы уверяют, что он действительно очень похож на женский профиль и фигуру, — я этого не заметил, как ни старался. Историей своей, весьма любопытной, мексиканцы интересуются, но имена их древних властителей — Монтецумы и Гватемозина — не забыты только потому, что это марки двух крупнейших конкурирующих пивных заводов.

Мексика — страна обнищавшая и разоренная североамериканским империализмом. Едва ли не у трех четвертей населения хватает средств только на кукурузу и на «пульке» (мексиканская водка).

Благодаря таким условиям жизни мексиканец обычно уже совершенно изношенный человек к 40 годам. Это жалкое положение массы порождает чувство острой ненависти к угнетателям. «Грингоу» — презрительная кличка американцев, — самое оскорбительное слово во всей Мексике.

Интересны многие черты мексиканского быта. Покойников, например, хоронят на трамвае. Часто случается, что трамвай по дороге задавит еще кого-нибудь, и тогда задавленный отправляется на кладбище на следующем. Кстати — смертность в Мехико-сити чрезвычайно велика. Объясняется это особенностями автомобильного и автобусного движения в столице. По мексиканским законам, шофер не отвечает за раздавленных им, а так как в городе имеется ряд конкурирующих автомобильных

компаний, а темпераментом испанцы, как известно, отличаются весьма живым, нередки случаи, когда автобус (не думайте, что это анекдот) гоняется за таксомотором противной фирмы, стараясь раздавить его, причем шоферы совершенно позабывают о своих седоках. Средняя долговечность жителя мексиканской столицы определяется, приблизительно, в десять лет. Правда, изредка попадаются индивидуумы, которым удается прожить лет 20, но, очевидно, за счет тех, которые живут только 5. Вечером в Мехико-сити рекомендуется сидеть дома, а если выходить на улицу, то только пешком. Ни в коем случае не катайтесь на автомобиле по саду Чапультепеку. После 7 часов, по особому приказу президента, честный мексиканец обязан стрелять в каждый автомобиль. Правда, полагается стрелять после троекратного предупреждения, но мексиканцы народ горячий и обычно стреляют, не предупреждая ни одного раза. Стрелять вообще в Мексике любят и стреляют по всякому удобному и неудобному поводу, как-то: в целях наживы; с целью убить; не иначе, как выстрелом пьяница открывает бутылку; стреляют просто так, в шутку. Вскоре после моего приезда слушалось любопытное дело: одна женщина обвинялась в том, что застрелила своего знакомого, — они просто порешили между собой, что тот, кто вытянет жребий, будет застрелен партнером. Женщина была даже обижена и удивлена, за что ее, собственно, судят. Едва ли вообще можно найти хоть одного мексиканца, у которого в заднем кармане брюк не лежал бы добрый увесистый кольт.

В мексиканском сенате существуют также совершенно особые и оригинальные методы парламентской борьбы. Перед голосованием одна партия всегда норовит украсть на несколько дней депутатов другой.

ИСКУССТВО В МЕКСИКЕ

Бой быков — самое любимое и популярное развлечение всех мексиканцев без различия пола, возраста и состояния. Поэтов в Мексике много — стихи пишут все.

В Мехико-сити имеется даже специальная аллея поэтов, где посиживают многочисленные кустари от поэзии.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

В Соединенные Штаты я ехал через Ларедо. Первое впечатление — аэропланы, непрерывно взлетающие и спускающиеся то по одну, то по другую сторону нашего поезда. Но это были и первые и последние аэропланы, которые я видел в Соединенных Штатах. Как это ни покажется странным, авиация развита сравнительно очень мало. Серьезные препятствия для ее развития непрерывно ставят могущественные железнодорожные компании, использующие каждую воздушную катастрофу для борьбы против авиации. Знаменитые пульмановские вагоны, разрекламированные на весь свет, по существу, чрезвычайно неудобны. Каждое утро и каждый вечер негр-кондуктор тратит по два часа на приведение вагона в дневной и спальный вид.

О Соединенных Штатах принято говорить, как о самой трезвой стране. Что касается трезвости, она в Америке очень условна. Если пошептаться с лакеем — вы получите все, что угодно, от виски до шампанского. Тайная торговля водкой распространена в Соединенных Штатах чрезвычайно широко. На каждые 500 человек, приблизительно, приходится один такой тайный торговец «бутлегер».

Высшая сила Америки, как известно, — доллар; религия — культ «бизнеса» (дело). Из этого не следует, что Америка — скупая страна. Одного мороженого в Соединенных Штатах съедается на миллион долларов в год. О роскоши американских миллиардеров и говорить не приходится, — она вошла в поговорку.

Но доллар определяет все. Несколько мелочей быта — хорошая иллюстрация этого. В Америке трудно пронести по улице вещь, завернутую в газетную бумагу. На вас посмотрят, как на «неджентльмена», и с вами постыдятся пройти по улице. Если бы все стали завертывать свои покупки в газетную бумагу, — что делали бы фабриканты оберточной бумаги?

15 сентября во всей Америке — день перемены шляп. Человек, который решится 15 числа или позднее выйти на улицу в соломенной, рискует и вообще не вернуться домой. На углу стоят здоровые детины с увесистыми палками, разбивающие канотье непосредственно на голове у тех, кто позабыл их снять. Объяснение простое: фабрикантам мягких шляп было бы слишком невыгодно, если бы люди продолжали ходить в соломенных. С другой стороны, фабрикантам канотье было бы тоже невыгодно, если бы их шляпы сохранялись американцами до будущего сезона. А потому уничтожение на нью-йоркских улицах выгодно и тем и другим.

Еще пример действия доллара. На белогвардейскую эмиграцию доллар действует особенно разлагающе. Члены бывшей царской фамилии, приезжающие в Америку, немедленно «берутся в работу» деловыми американскими антрепренерами. Так, бывший великий князь Борис за умеренную плату описывает в нью-йоркских газетах свои кутежи и пьянство былого времени, даже с фотомонтажем! – цари на фоне игорных притонов; а «императрица всероссийская», жена Кирилла Владимировича, которую американцы называют «Мадам С'рил», занималась еще более легкой халтуркой: за плату от 10 до 50 долларов каждый американец имел возможность посмотреть, а если дороже заплатить, то и поздороваться и поцеловать руку и даже сказать несколько слов с «Мадам С'рил».

Таков быт.

[1925]

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
МЕКСИКА
Два слова. Моя последняя дорога – Москва, Кенигсберг (воздух), Берлин, Париж, Сен-Назер, Жижон, Сантандер, Мыс-ла-Коронь (Испания), Гавана (остров Куба), Вера-Круц, Мехико-сити, Ларедо (Мексика), Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия, Детройт, Питсбург, Кливленд (Северо-Американские Соединенные Штаты), Гавр, Париж, Берлин, Рига, Москва.

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

Езда хватает сегодняшнего читателя. Вместо выдуманных интересностей о скучных вещах, образов и метафор – вещи, интересные сами по себе.

Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

18 дней океана. Океан – дело воображения. И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, – только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, – и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом – опять плавучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять плавучие губки Сарагоссова моря, а в редкие торжественные случаи – фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода.

Океан надоедает, а без него скушно.

Потом уже долго-долго надо, чтобы гремела вода, чтоб успокаивающе шумела машина, чтоб в такт позванивали медяшки люков.

Пароход «Эспань» 14 000 тонн. Пароход маленький, вроде нашего «ГУМ'а». Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета.

Газета «Атлантик». Впрочем, паршивая. На первой странице великие люди: Балиев да Шаляпин, в тексте описание отелей (материал, очевидно, заготовленный на берегу) да жиденький столбец новостей – сегодняшнее меню и последнее радио, вроде: «В Марокко все спокойно».

Палуба разукрашена разноцветными фонариками, и всю ночь танцует первый класс с капитанами. Всю ночь наяривает джаз:

Маркита,

Маркита,
Маркита моя!
Зачем ты,
Маркита,
не любишь меня…

Классы — самые настоящие. В первом — купцы, фабриканты шляп и воротничков, тузы искусства и монашенки. Люди странные: турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, — представители французских фирм с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Это — сегодняшние колонизаторы, мексиканские штучки. Как раньше за грошовые побрякушки спутники и потомки Колумба обирали индейцев, так сейчас за красный галстук, приобщающий негра к европейской цивилизации, на гаванских плантациях сгибают в три погибели краснокожих. Держатся обособленно. В третий и во второй идут только если за хорошенькими девочками. Второй класс — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство, и стукающая по ремингтонам интеллигенция. Всегда незаметно от боцманов, бочком втираются в палубы первого класса. Станут и стоят, — дескать, чем же я от вас отличаюсь: воротнички на мне те же, манжеты тоже. Но их отличают и почти вежливо просят уйти к себе. Третий — начинка трюмов. Ищущие работы из Одесс всего света — боксеры, сыщики, негры.

Сами наверх не суются. У заходящих с других классов спрашивают с угрюмой завистью: «Вы с преферанса?» Отсюда подымаются спертый запашище пота и сапожищ, кислая вонь просушиваемых пеленок, скрип гамаков и походных кроватей, облепивших всю палубу, зарезанный рев детей и шепот почти по-русски урезонивающих матерей: «Уймись, ты, кисáнка моя, заплакáнная».

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони, — надо угадать, кто хлопнул из всей гурьбы, и узнанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам испробовать эту испанскую игру.

Первый класс тошнит куда хочет, второй — на третий, а третий — сам на себя.

Событий никаких.

Ходит телеграфист, орет о встречных пароходах. Можете отправить радио в Европу.

А заведующий библиотекой, ввиду малого спроса на книги, занят и другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси 10 франков и запиши фамилию; если цифра пройденных миль окончится на твою — получай 100 франков из этого морского тотализатора.

Мое незнание языка и молчание было истолковано как молчание дипломатическое, и один из купцов, встречая меня, всегда для поддержки знакомства с высоким пассажиром почему-то орал: «Хорош Плевна» — два слова, заученные им от еврейской девочки с третьей палубы.

Накануне приезда в Гавану пароход оживился. Была дана «Томбола» — морской благотворительный праздник в пользу детей погибших моряков.

Первый класс устроил лотерею, пил шампанское, склонял имя купца Макстона, пожертвовавшего 2000 франков, — имя это было вывешено на доске объявлений, а грудь Макстона под общие аплодисменты украшена трехцветной лентой с его, Макстоновой фамилией, тисненной золотом.

Третий тоже устроил праздник. Но медяки, кидаемые первым и вторым в шляпы, третий собирал в свою пользу.

Главный номер — бокс. Очевидно, для любящих спорт англичан и американцев. Боксировать никто не умел. Противно — бьют морду в жару. В первой паре пароходный кок — голый, щуплый, волосатый француз в черных дырявых носках на голую ногу.

Кока били долго. Минут пять он держался от умения и еще минут двадцать из самолюбия, а потом взмолился, опустил руки и ушел, выплевывая кровь и зубы.

Во второй паре дрался дурак-болгарин, хвастливо открывавший грудь, — с американцем-сыщиком. Сыщика, профессионального боксера, разбирал смех, — он

размахнулся, но от смеха и удивления не попал, а сломал собственную руку, плохо сросшуюся после войны.

Вечером ходил арбитр и собирал деньги на поломанного сыщика. Всем объявлялось по секрету, что сыщик со специальным тайным поручением в Мексике, а слечь надо в Гаване, а безрукому никто не поможет, — зачем он американской полиции?

Это я понял хорошо, потому что и американец-арбитр в соломенном шлеме оказался одесским сапожником-евреем.

А одесскому еврею все надо, — даже вступаться за незнакомого сыщика под тропиком Козерога.

Жара страшная.

Пили воду — и зря: она сейчас же выпаривалась пóтом.

Сотни вентиляторов вращались на оси и мерно покачивали и крутили головой — обмахивая первый класс.

Третий класс теперь ненавидел первый еще и за то, что ему прохладнее на градус.

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаване. Подлип таможенный катерок, а потом десятки лодок и лодчонок с гаванской картошкой — ананасами. Третий класс кидал деньгу, а потом выуживал ананас веревочкой.

На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: «Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою…»

Гавана. Стояли сутки. Брали уголь. В Вера-Круц угля нет, а его надо на шесть дней езды, туда и обратно по Мексиканскому заливу. Первому классу пропуска на берег дали немедленно и всем, с заносом в каюту. Купцы в белой чесуче сбегали возбужденно с дюжинами чемоданчиков — образцов подтяжек, воротничков, граммофонов, фиксатуаров и красных негритянских галстуков. Купцы возвращались ночью пьяные, хвастаясь дареными двухдолларовыми сигарами.

Второй класс сходил с выбором. Пускали на берег нравящихся капитану. Чаще — женщин.

Третий класс не пускали совсем — и он торчал на палубе, в скрежете и грохоте углесосов, в черной пыли, прилипшей к липкому поту, подтягивая на веревочке ананасы.

К моменту спуска полил дождь, никогда не виданный мной тропический дождина.

Что такое дождь?

Это — воздух с прослойкой воды.

Дождь тропический — это сплошная вода с прослойкой воздуха.

Я первоклассник. Я на берегу. Я спасаюсь от дождя в огромнейшем двухэтажном пакгаузе. Пакгауз от пола до потолка начинен «виски». Таинственные подписи: «Кинг Жорж», «Блэк энд уайт», «Уайт хорс» — чернели на ящиках спирта, контрабанды, вливаемой отсюда в недалекие трезвые Соединенные Штаты.

За пакгаузом — портовая грязь кабаков, публичных домов и гниющих фруктов.

За портовой полосой — чистый богатейший город мира.

Одна сторона — разэкзотическая. На фоне зеленого моря черный негр в белых штанах продает пунцовую рыбу, подымая ее за хвост над собственной головой. Другая сторона — мировые табачные и сахарные лимитеды с десятками тысяч негров, испанцев и русских рабочих.

А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок — первые

ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над всеми тремя – над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Им принадлежит почти весь гаванский Кузнецкий мост: длинная, ровная, в кафе, рекламах и фонарях Прадо; по всей Ведадо, перед их особняками, увитыми розовым коларио, стоят на ножке фламинго цвета рассвета. Американцев берегут на своих низеньких табуретах под зонтиками стоящие полицейские.

Все, что относится к древней экзотике, красочно поэтично и малодоходно. Например, красивейшее кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецов с черными даже днем аллеями каких-то сплетшихся тропических бородатых деревьев.

Все, что относится к американцам, прилажено прилежно и организованно. Ночью я с час простоял перед окнами гаванского телеграфа. Люди разомлели в гаванской жаре, пишут почти не двигаясь. Под потолком на бесконечной ленте носятся зажатые в железных лапках квитанции, бланки и телеграммы. Умная машина вежливо берет от барышни телеграмму, передает телеграфисту и возвращается от него с последними курсами мировых валют. И в полном контакте с нею, от тех же двигателей вертятся и покачивают головами вентиляторы.

Обратно я еле нашел дорогу. Я запомнил улицу по эмалированной дощечке с надписью «трафико». Как будто ясно – название улицы. Только через месяц я узнал, что «трафико» на тысячах улиц просто указывает направление автомобилей. Перед уходом парохода я сбежал за журналами. На площади меня поймал оборванец. Я не сразу мог понять, что он просит о помощи. Оборванец удивился.

– Ду ю спик инглиш? Парлата Эспаньола? Парле ву франсе?

Я молчал и только под конец сказал ломано, чтоб отвязаться: «Ай эм рéша!»

Это был самый необдуманный поступок. Оборванец ухватил обеими руками мою руку и заорал:

– Гип большевик! Ай эм большевик! Гип, гип!

Я скрылся под недоуменные и опасливые взгляды прохожих.

Мы отплывали уже под гимн мексиканцев.

Как украшает гимн людей, – даже купцы стали серьезны, вдохновенно повскакивали с мест и орали что-то вроде:

Будь готов мексиканец,
вскочить на коня…
К ужину давали незнакомые мне еды – зеленый кокосовый орех с намазывающейся маслом сердцевиной и фрукт манго – шарж на банан, с большой волосатой косточкой.

Ночью я с завистью смотрел пунктир фонарей далеко по правой руке, – это горели железнодорожные огни Флориды.

На железных столбах в третьем классе, к которым прикручивают канаты, сидели вдвоем я и эмигрирующая одесская машинистка. Машинистка говорила со слезой:

– Нас сократили, я голодала, сестра голодала, двоюродный дядька позвал из Америки. Мы сорвались и уже год плаваем и ездим от земли к земле, от города к городу. У сестры – ангина и нарыв. Я звала вашего доктора. Он не пришел, а вызвал к себе. Пришли, говорит – раздевайтесь. Сидит с кем-то и смеется. В Гаване хотели слезть зайцами – оттолкнули. Прямо в грудь. Больно. Так в Константинополе, так в Александрии. Мы – третьи… Этого и в Одессе не бывало. Два года ждать нам, пока пустят из Мексики в Соединенные Штаты… Счастливый! Вы через полгода опять увидите Россию.

Мексика. Вера-Круц. Жиденький бережок с маленькими низкими домишками. Круглая беседка для встречающих рожками музыкантов.

Взвод солдат учится и марширует на берегу. Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытягивали до второй

палубы руки с носильщическими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались, вытирали лицо и орали и клянчили снова.

– Где же индейцы? – спросил я соседа.

– Это индейцы, – сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлинов переделывают в куриц.

Я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Первое – красное знамя с серпом и молотом в окне двухэтажного дома.

Ни к каким советским консульствам это знамя никак не относится. Это «организация Проаля». Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг.

Это значит:

«Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду». Вот и все.

Попробуй – вышиби.

В крохотной тени от стен и заборов ходят коричневые люди. Можно идти и по солнцу, но тогда тихо, тихо – иначе солнечный удар.

Я узнал об этом поздно и две недели ходил, раздувая ноздри и рот – чтобы наверстать нехватку разреженного воздуха.

Вся жизнь – и дела, и встречи, и еда – всё под холщовыми полосатыми навесами на улицах.

Главные люди – чистильщики сапог и продавцы лотерейных билетов. Чем живут чистильщики сапог – не знаю. Индейцы босые, а если и обуты, то во что-то не поддающееся ни чистке, ни описанию. А на каждого имеющего сапог – минимум 5 чистильщиков.

Но лотерейщиков еще больше. Они тысячами ходят с отпечатанными на папиросной бумаге миллионами выигрышных билетов, в самых мелких купюрах. А наутро уже выигрыши с массой грошовых выдач. Это уже не лотерея, а какая-то своеобразная, полукарточная, азартная игра. Билеты раскупают, как в Москве подсолнухи. В Вера-Круц не задерживаются долго: покупают мешок, меняют доллары, берут мешок с серебром за плечи и идут на вокзал покупать билет в столицу Мексики – Мехико-сити.

В Мексике все носят деньги в мешках. Частая смена правительств (за отрезок времени 28 лет – 30 президентов) подорвала доверие к каким бы то ни было бумажкам. Вот и мешки.

В Мексике бандитизм. Признаюсь, я понимаю бандитов. А вы, если перед вашими носами звенят золотом мешком, разве не покуситесь?

На вокзале увидел вблизи первых военных. Большая шляпа с пером, желтое лицо, шестивершковые усы, палаш до полу, зеленые мундиры и лакированные желтые краги.

Армия Мексики интересна. Никто, и военный министр тоже, не знает, сколько в Мексике солдат. Солдаты под генералами. Если генерал за президента, он, имея тысячу солдат, хвастается десятью тысячами. А получив на десять, продает еду и амуницию девяти.

Если генерал против президента, он щеголяет статистикой в тысячу, а в нужный момент выходит драться с десятью.

Поэтому военный министр на вопрос о количестве войска отвечает:

– Кин сав, кин сав. Кто знает, кто знает. Может 30 тысяч, но возможно – и сто.

Войско живет по-древнему – в палатках со скарбом с женами и с детьми.

Скарб, жены и дети этакой махновщиной выступают во время междоусобных войн. Если у одной армии нет патронов, но есть маис, а другие без маиса, но с патронами – армии прерывают сражение, семьи ведут меновую торговлю, одни наедятся маисом, другие наполнят патронами сумки – и снова раздувают бой.

По дороге к вокзалу автомобиль спугнул стаю птиц. Есть чего испугаться.

Гусиных размеров, вороньей черноты, с голыми шеями и большими клювами, они подымались над нами.

Это «зопилоты», мирные вороны Мексики; ихнее дело – всякий отброс.

Отъехали в девять вечера.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3000 метров вздымается она по обрывам, промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна.

В совершенно синей, ультрамариновой ночи черны тела пальм – совсем длинноволосые богемцы-художники.

Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды. Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков.

Когда озаряются станции, видишь глубочайшую грязь, ослов и длинношляпых мексиканцев в «сарапе» – пестрых коврах, прорезанных посередине, чтоб просунуть голову и спустить концы на живот и за спину.

Стоят, смотрят – а двигаться не их дело.

Над всем этим сложный, тошноту вызывающий запах, – странная помесь вони газолина и духа гнили банана и ананаса.

Я встал рано. Вышел на площадку.

Было все наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку – «пульке», спаивая голодных индейцев. А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я въехал в Мехико-сити.

Диего де-Ривера встретил меня на вокзале. Поэтому живопись – первое, с чем я познакомился в Мехико-сити.

Я раньше только слышал, будто Диего – один из основателей компартии Мексики, что Диего величайший мексиканский художник, что Диего из кольта попадает в монету на лету. Еще я знал, что своего Хулио Хуренито Эренбург пытался писать с Диего.

Диего оказался огромным, с хорошим животом, широколицым, всегда улыбающимся человеком.

Он рассказывает, вмешивая русские слова (Диего великолепно понимает по-русски), тысячи интересных вещей, но перед рассказом предупреждает:

– Имейте в виду, и моя жена подтверждает, что половину из всего сказанного я привираю.

Мы с вокзала, закинув в гостиницу вещи, двинулись в мексиканский музей. Диего двигался тучей, отвечая на сотни поклонов, пожимая руку ближайшим и перекрикиваясь с идущими другой стороной. Мы смотрели древние, круглые, на камне, ацтекские календари из мексиканских пирамид, двумордых идолов ветра, у которых одно лицо догоняет другое. Смотрели, и мне показывали не зря. Уже мексиканский посол в Париже, г-н Рейес, известный новеллист Мексики, предупреждал меня, что сегодняшняя идея мексиканского искусства — это исход из древнего, пестрого, грубого народного индейского искусства, а не из эпигонски-эклектических форм, завезенных сюда из Европы. Эта идея — часть, может, еще и не осознанная часть, идеи борьбы и освобождения колониальных рабов.

Поженить грубую характерную древность с последними днями французской модернистской живописи хочет Диего в своей еще не оконченной работе — росписи всего здания мексиканского министерства народного просвещения.

Это много десятков стен, дающих прошлую, настоящую и будущую историю Мексики.

Первобытный рай, со свободным трудом, с древними обычаями, праздниками маиса, танцами духа смерти и жизни, фруктовыми и цветочными дарами.

Потом — корабли генерала Эрнандо Кортеса, покорение и закабаление Мексики.

Подневольный труд с плантатором (весь в револьверах), валяющимся в гамаке. Фрески ткацкого, литейного, гончарного и сахарного труда. Подымающаяся борьба. Галерея застреленных революционеров. Восстание с землей, атакующей даже небеса. Похороны убитых революционеров. Освобождение крестьянина. Учение крестьян под охраной вооруженного народа. Смычка рабочих и крестьян. Стройка будущей земли. Коммуна — расцвет искусства и знаний.

Эта работа была заказана предыдущим недолговечным президентом в период его заигрывания с рабочими.

Сейчас эта первая коммунистическая роспись в мире — предмет злейших нападок многих высоких лиц из правительства президента Кайеса.

Соединенные Штаты — дирижер Мексики — дали броненосцами и пушками понять, что мексиканский президент только исполнитель воли североамериканского капитала. А поэтому (вывод нетруден) незачем разводить коммунистическую агитационную живопись.

Были случаи нападения хулиганов и замазывания и соскребывания картин.

В этот день я обедал у Диего.

Его жена — высокая красавица из Гвадалахары.

Ели чисто мексиканские вещи.

Сухие, пресные-пресные тяжелые лепешки-блины. Рубленое скатанное мясо с массой муки и целым пожаром перца.

До обеда кокосовый орех, после — манго.

Запивается отдающей самогоном дешевой водкой — коньяком-хабанерой.

Потом перешли в гостиную. В центре дивана валялся годовалый сын, а в изголовьи на подушке бережно лежал огромный кольт.

Приведу отрывочные сведения и о других искусствах.

Поэзия: Ее много. В саду Чапультапеке есть целая аллея поэтов — Кальсада де лос поэтос.

Одинокие мечтательные фигуры скребутся в бумажке.

Каждый шестой человек — обязательно поэт.

Но все мои вопросы критикам о сегодняшней значительной мексиканской поэзии, о том, есть ли что-либо похожее на советские течения, – оставались без ответа.

Даже коммунист Герреро, редактор железнодорожного журнала, даже рабочий писатель Крус пишут почти одни лирические вещи со сладострастиями, со стонами и шепотами, и про свою любимую говорят: Комо леон ну́био (как нубийский лев).

Причина, я думаю, слабое развитие поэзии, слабый социальный заказ. Редактор журнала «Факел» доказывал мне, что платить за стихи нельзя, – какая же это работа! Их можно помещать только как красивую человеческую позу, прежде всего выгодную и интересную одному автору. Интересно, что этот взгляд на поэзию был и в России в предпушкинскую и даже в пушкинскую эпоху. Профессионалом, серьезно вставлявшим стихи в бюджет, был, кажется, тогда только один Пушкин.

Поэзия напечатанная, да и вообще хорошая книга, не идет совсем. Исключение – только переводные романы. Даже книга «Грабительская Америка», насущная книга об империализме в Соединенных Штатах и возможности объединения латинской Америки для борьбы, переведенная и напечатанная уже в Германии, здесь расходится в пятистах экземплярах и то чуть ли не при насильственной подписке.

Те, кто хотят, чтоб их поэзия шла, издают лубочные листки с поэмой, приспособленной к распеву на какой-нибудь общеизвестный мотив.

Такие листки показывал мне делегат Крестинтерна товарищ Гальван. Это – предвыборные листки с его же стихами, за грош продающимися по рынкам. Этот способ надо бы применить вапповцам и мапповцам – вместо толстенных академических антологий на рабоче-крестьянском верже, в 5 рублей ценой.

Русскую литературу любят и уважают, хотя больше по наслышке. Сейчас переводятся (!) Лев Толстой, Чехов, а из новых я видел только «Двенадцать» Блока да мой «Левый марш».

Театр. Драмы, оперы, балет пустуют. Заезжая Анна Павлова имела бы полный зал, только б если у нее двоилось в глазах.

Я был раз в огромном театре на спектакле кукол. Было жутко видеть это приехавшее из Италии потрясающее искусство. Люди, казавшиеся живыми, ломались в гимнастике по всем суставам. Из бабы человечьей величины десятками вылетали танцевать крохотные куколки обоего пола.

Оркестр и хор полуаршинных людей выводили невозможные рулады, и даже на этом официальном спектакле в пользу авиаторов Мексики полны были только ложи дипломатических представителей, хотя билеты и продавались вручную, вразнос.

Есть два «батаклана» – подражание голым парижским ревю. Они полны. Женщины тощие и грязные. Очевидно, уже вышедшие из моды, из лет и из успеха в Европе и в Штатах. Пахнет потом и скандалом. Номер получасового вращения (с дрожью) задом (обратная сторона танца живота) повторяется трижды – и снова бешеный свист, заменяющий в Мексике аплодисменты.

Так же посещаем кино. Мексиканское кино работает от восьми вечера и показывает одну неповторяющуюся программу из трех-четырех огромных лент.

Содержание ковбойское, происхождение американское. Но самое любимое посещаемое зрелище – это бой быков.

Огромное стальное строение арены – единственное здание по всем правилам, по всей американской широте.

Человек – тысяч на сорок. Задолго до воскресенья газеты публикуют:

ЛОС ОЧО ТОРОС

восемь быков

Быков и лошадей, принимающих участие в битве, можно заранее осматривать в

конюшнях торо. Такие-то и такие-то знаменитые тореадоры, матадоры и пикадоры принимают участие в празднике.

В назначенный час тысячи экипажей со светскими дамами, катящими с ручными обезьянками в своих «ройльсах», и десятки тысяч пешеходов прут к стальному зданию. Цены на билеты, раскупленные барышниками, вздуты вдвое.

Цирк открытый.

Аристократия берет билеты в теневой, дорогой стороне, плебс — на дешевой, солнечной. Если после убийства двух быков, из общей программы в 6 или в 8, дождь заставляет прекратить живодерню, публика — так было в день моего приезда — ярится и устраивает погром администрации и деревянных частей.

Тогда полиция прикатывает брандсбои и начинает окачивать солнечную (плебейскую) сторону водой. Это не помогает, — тогда стреляют в тех же солнечников.

Торо.

Перед входом огромная толпа ждет любимцев-быкобоев. Именитые граждане стараются сняться рядом с высокомерным быкобойцем, аристократки-сеньоры дают, очевидно для облагораживающего влияния, подержать им своих детей. Фотографы занимают места почти на бычьих рогах — и начинается бой.

Сначала пышный, переливающий блестками парад. И уже начинает бесноваться аудитория, бросая котелки, пиджаки, кошельки и перчатки любимцам на арену. Красиво и спокойно, сравнительно, проходит пролог, когда тореадор играет с быком красной тряпкой. Но уже с бандерильеров, когда быку в шею втыкают первые копья, когда пикадоры обрывают быкам бока, и бык становится постепенно красным, когда его взбешенные рога врезаются в лошажьи животы, и лошади пикадоров секунду носятся с вывалившимися кишками, — тогда зловещая радость аудитории доходит до кипения. Я видел человека, который спрыгнул со своего места, выхватил тряпку тореадора и стал взвивать ее перед бычьим носом.

Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.

Человека вынесли.

Никто на него не обратил внимания.

Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.

Почему нужно жалеть такое человечество?

Единственное, что примиряет меня с боем быков, это — то, что и король Альфонс испанский против него.

Бой быков — национальная мексиканская гордость.

Когда, распростившись с своим делом, купив дома и обеспечив себя и детей едой и лакеями, знаменитый быкобсец Рудольфо Гаона уехал в Европу — вся пресса взвыла, собирая анкеты: имеет ли право уезжать этот великий человек? у кого будет учиться, с кого будет брать пример подрастающая Мексика?

Поражающих архитектурных памятников новой стройки я в Мексике не видел. Быстро меняющиеся президенты мало задумываются о долговечных стройках. Днэц, пропрезидентствовавший тридцать лет, под конец начал строить не то сенат, не то театр. Диэца прогнали. С тех пор прошло много лет. Готовый скелет из железных балок стоит, а сейчас, кажется, его получил на слом или продажу за какие-то услуги президенту какой-то мексиканский спекулянт. Новой и хорошей вещью мне показался памятник Сервантесу (копия севильского). Возвышающаяся площадка, обнесенная каменными скамейками, посредине фонтан, очень нужный в мексиканской жаре. Скамейки и низкие стены выстланы плитками, воскрешающими в простеньких

лубочках похождения Дон-Кихота. Маленький Дон и Санчо-Панса стоят по бокам. Никаких изображений усатого или бородатого Сервантеса.

Зато два шкафика его книг, которые тут же много лет листают возвышенные мексиканцы.

Город Мехико-сити плоский и пестрый. Снаружи почти все домики – ящиками. Розовые, голубые, зеленые. Преобладающий цвет розовато-желтый, этаким морским песком на заре. Фасад дома скучен, вся его красота – внутри. Здесь дом образует четырехугольный дворик. Дворик усажен всякой цветущей тропичностью. Перед всеми домами обнимающая дворик двух-трех-четырехэтажная терраса, обвитая зеленью, увешанная горшками с ползучими растениями и клетками попугаев.

Целое огромное американское кафе Самборн устроено так: застеклена крыша над двориком – вот и все.

Это – испанский тип домов, завезенный сюда завоевателями.

От старого восьмисотлетнего Мехико, – когда все это пространство, занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами, и только на островочке стояло пуэбло, своеобразный город-дом-коммуна, тысяч на 40 человек, – от этого ацтекского города не осталось и следа.

Зато масса дворцов и домов первого завоевателя Мексики – Кортеса и его эпохи, недолгого царя Итурбиды, да церкви, церкви и монастыри. Их много больше 10 000 расставлено в Мексике.

И огромные новые соборы, вроде брата Нотр-Дама – кафедраля на площади Сокола, – до маленькой церковки в старом городе, без окон, заплесневевшей и зацветшей. Она брошена лет двести назад после сражения монахов с кем-то, – вот и стоит дворик, в котором еще и сейчас валяется допотопное оружие, в том порядке – вернее, беспорядке, – в котором побросали его разбитые осажденные. И мимо огромных книг на деревянных подставках носятся летучие мыши и ласточки.

Правда, упомянутым кафедралем для молений пользуются мало – у кафедраля с одной стороны вход, а с другой – четыре выхода на четыре улицы. Мексиканские синьорины и синьориты пользуются собором как проходным двором для того, чтобы, оставив в ждущем шофере впечатление религиозной невинности, выскользнуть с другой стороны в объятия любовника или под руку поклонника.

Хотя церковные земли конфискованы, процессии религиозные запрещены правительством, но это остается только на бумаге. На деле, кроме попов, религию блюдут и множество своеобразных организаций: «Рыцари Колумба», «Общество дам-католичек», «Общество молодых католиков» и т. д.

Это – дома и здания, на которых останавливаются гиды и Куки. Дома истории – дома попов и дома богатых.

Коммунисты показывали мне кварталы бедняков, мелких подмастерьев, безработных. Эти домики лепятся друг к другу, как ларьки на Сухаревке, но с еще большей грязью. В этих домах нет окон, и в открытые двери видно, как лепятся семьи из восьми, из десяти человек в одной такой комнатке.

Во время ежедневных летних мексиканских дождей вода заливает протоптанные ниже тротуаров полы и стоит вонючими лужами.

Перед дверьми мелкие худосочные дети едят вареный маис, продающийся здесь же и хранящийся теплым под грязными тряпками, на которых ночью спит сам торговец.

Взрослые, у которых есть еще 12 сантимов, сидят в «пулькерии» – этой своеобразной мексиканской пивной, украшенной коврами сарапе, с изображением генерала Боливара, с пестрыми лентами или стеклярусами вместо дверей.

Кактусовый пульке, без еды, портит сердце и желудок. И уже к сорока годам индеец с одышкой, индеец с одутловатым животом. И это – потомок стальных Ястребиных Когтей, охотников за скальпами! Это – обобранная американскими цивилизующими империалистами страна – страна, в которой до открытия Америки валяющееся серебро

даже не считалось драгоценным металлом, – страна, в которой сейчас не купишь и серебряного фунта, а должен искать его на Волстрит в Нью-Йорке. Серебро американское, нефть американская. На севере Мексики во владении американцев и густые железные дороги и промышленность по последнему техническому слову.

А экзотика – на кой она черт! Лианы, попугаи, тигры и малярии, это – на юге, это – мексиканцам. Что американцам? Тигров, что ли, ловить да стричь шерсть на кисточки для бритья?

Тигры – это мексиканцам. Им – голодная экзотика.

Самая богатая страна мира, уже посаженная североамериканским империализмом на голодный паек.

Жизнь города начинается поздно, в 8-9 часов.

Открываются рынки, слесарные, сапожные и портняжные мастерские, все электрифицированные, со станками для обпиливания и крашенья каблуков, с утюгами для глажения сразу всего костюма. За мастерскими – правительственные учреждения.

Масса такси и частных автомобилей вперемежку с демократическими тряскими грузными автобусами, не комфортабельней и не вместительней нашего грузового полка.

Авто конкурируют с автобусами и авто разных фирм между собой.

Эта конкуренция при больше чем страстном характере испанцев-шоферов приобретает прямо боевые формы.

Авто гоняется за авто, авто вместе гоняются за автобусом, а все сообща въезжают на тротуары, охотясь за необдуманными пешеходами.

Мехико-сити – первый в мире город по количеству несчастных случаев от автомобилей.

Шофер в Мексике не отвечает за увечья (берегись сам!), поэтому средняя долгота житья без увечий десять лет. Раз в десять лет давят каждого. Правда, есть и нераздавленные в течение двадцати лет, но это за счет тех, которые в пять лет уже раздавлены.

В отличие от врагов мексиканского человечества – автомобилей – трамваи исполняют гуманную роль. Они развозят покойников.

Часто видишь необычное зрелище. Трамвай с плачущими родственниками, а на прицепе-катафалке покойник. Вся эта процессия жарит вовсю с массой звонков, но без остановок.

Своеобразная электрификация смерти!

Сравнительно с Соединенными Штатами народу на улицах мало – домишки маленькие с садами, протяжение города огромное, а жителей всего 600 тысяч.

Уличных реклам мало. Только ночью врезается одна. Мексиканец из электрических лампочек накидывает лассо на коробку папирос. Да все такси украшены изогнувшейся в плавании женщиной – реклама купальных костюмов.

Единственная реклама, которую любит малоудивляющийся мексиканец, это «барата» – распродажа. Этими распродажами заполнен город. Самые солидные фирмы обязаны ее объявлять – без распродажи мексиканца не заставишь купить даже фиговый лист.

В мексиканских условиях это не шутка. Говорят, муниципалитет повесил на одной из застав, вводящих в Мехико-сити, для усовещевания чересчур натуральных индейцев вывеску:

В МЕХИКО-СИТИ

БЕЗ ШТАНОВ

ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Магазинная экзотика есть, но она для дураков, для заезжих, скупающих сувениры, сухопарых американок. К их услугам прыгающие бобы, чересчур яркие сарапе, от которых будут шарахаться все ослы Гвадалахары, сумочки с тисненым ацтекским календарем, открытки с попугаями из настоящих попугайских перышек. Мексиканец чаще останавливается перед машинными магазинами немцев, бельевыми – французов, мебели – американцев.

Иностранных предприятий бесконечное количество. Когда в праздник 14 июля французские лавки подняли флаги, то густота их заставила думать, что мы во Франции.

Наибольшими торговыми симпатиями пользуются Германия, немцы.

Говорят, что немец может проехать по стране, пользуясь всеобщим хлебосольством только из любви к его национальности. Недаром в самой распространенной здесь газете я видел типографские машины, привезенные недавно, только с немецкими клеймами, – хотя до Америки сутки, а до Гамбурга езды 18 дней.

До 5–6 часов служба, работа. Потом к вертушкам. Перед парикмахерскими в Америке вертушки – стеклянный цилиндр с разноцветными спиралями, реклама мексиканских парикмахерских. Другие – в чистильню сапог. Длинный магазин с подставками для ног перед высокими стульями. Чистильщиков на 20.

Мексиканец франтовит – я видел рабочих, которые душатся. Мексиканка ходит неделю в дырах, чтоб в воскресенье разодеться в шелка. С семи часов центральные улицы загораются электричеством, которого здесь жгут больше, чем где бы то ни было, – во всяком случае больше, чем позволяют средства мексиканского народа. Своеобразная агитация за крепость и благополучие существования под нынешним президентом.

В 11 часов, когда кончаются театры и кино, остаются несколько кафе да загородные и окраинные подвальные кабачки, – ходьба начинает становиться небезопасной. В сад Чапультапек, в котором дворец президента, уже не пускают.

По городу горох выстрелов. Сбежавшаяся полиция не всегда обнаруживает убийство. Чаще всего стреляют в трактирах, пользуясь кольтом как штопором. Отшибают бутылочьи горлышки. Стреляют просто из авто, для шума. Стреляют на пари – тянут жребий, кто кого будет застреливать, – вынувший застреливает честно. В саду Чапультапек стреляют обдуманно. Президент приказал не впускать в сад с темнотой (в саду президентский дворец), стрелять после третьего предупреждения. Стрелять не забывают, только иногда забывают предупреждать. Газеты об убийствах пишут с удовольствием, но без энтузиазма. Но зато, когда день обошелся без смерти, газета публикует с удивлением:

«Сегодня убийств не было».

Любовь к оружию большая. Обычай дружеского прощания такой: становишься животом к животу и похлопываешь по спине. Впрочем, похлопываешь ниже и в заднем кармане брюк всегда прохлопнешь увесистый кольт.

Это у каждого от 15 до 75-летнего возраста.

Капля политики. Капля – потому что это не моя специальность, потому что жил в Мексике мало, а писать об этом надо много.

Политическая жизнь Мексики считается экзотической, потому что отдельные факты ее на первый взгляд неожиданны, а проявления необычны.

Чехарда президентов, решающий голос кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств – все это есть в Мексике, и всего вдоволь.

Прежде всего о слове «революционер». В мексиканском понятии это не только тот, кто, понимая или угадывая грядущие века, дерется за них и ведет к ним человечество, – мексиканский революционер – это каждый, кто с оружием в руках

свергает власть – какую, безразлично.

А так как в Мексике каждый или свергнул, или свергает, или хочет свергнуть власть, то все революционеры.

Поэтому это слово в Мексике ничего не значит, и, прочтя его в газете в применении к южноамериканской жизни, надо спрашивать дальше и глубже. Я видел много мексиканских революционеров, от молодых энтузиастов-комсомольцев, до времени прячущих кольт, ждущих, чтобы и Мексика пошла по нашему октябрьскому пути, от этих и до 65-летних стариков, копящих миллионы для подкупа к выступлению, за которым самому мерещится президентский пост.

Всего в Мексике около 200 партий – с музейными партийными курьезами вроде «партии революционного воспитания» Рафаэля Майена, имеющей и идеологию, и программу, и комитет, но состоящей всего из него одного, или вроде прогоревших лидеров, предлагающих городскому управлению вымостить за свой счет целую улицу, только чтоб хотя б один переулок был назван их именем.

Для рабочего зрения интересна «лабористская» партия. Это мирная «рабочая партия», по духу близкая североамериканскому Гомперсу, лучший показатель того, как дегенерируют реформистские партии, заменивши революционную борьбу торговлей из-за министерских портфелей, благородными речами с трибуны и торгово-политическими махинациями в кулуарах.

Интересна фигура деятеля этой партии, министра труда Моронеса, которого все журналы рисуют не иначе как с горящими бриллиантами во всех грудях и манжетах.

К сожалению, я не могу дать достаточного очерка жизни коммунистов Мексики.

Я жил в Мехико-сити, центре официальной политики, – рабочая же жизнь концентрировалась севернее в нефтяном центре Тампико, на рудниках штата Мексико, среди крестьян штата Вера-Круц. Могу только вспомнить несколько встреч с товарищами.

Товарищ Гальван, представитель Мексики в Крестинтерне, организовал в Вера-Круц первую сельскохозяйственную коммуну с новыми тракторами и с попытками нового быта Он как настоящий энтузиаст рассказывает о своей работе, раздает фотографии и даже читает стихи о коммуне.

Товарищ Карйо, еще совсем молодой, но один из лучших теоретиков коммунизма – и секретарь, и казначей, и редактор, и все что угодно в одно и то же время.

Герреро – индеец. Коммунист-художник. Прекрасный политический карикатурист, владеющий и карандашом и лассо.

Товарищ Морено. Депутат от штата Вера-Круц.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали «по независящим обстоятельствам» на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр кольта).

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами.

Компартия Мексики мала; на полтора миллиона пролетариев – около двух тысяч коммунистов, но из этого числа только товарищей триста активных работников.

Но влияние коммунистов растет и распространяется далеко за пределы партии – коммунистический орган «Эль мачете» имеет пятитысячный фактический тираж.

Еще один факт. Товарищ Монсон уже в федеральном сенате стал коммунистом, будучи послан в сенат лабористами штата Сан-Луис Потосй. Его дважды вызывала его бывшая партия для отчета – он не показывался, занятый делами компартии. Тем не менее,

его не могут лишить полномочий благодаря его огромной популярности в рабочей массе.

Эксцентричность политики Мексики, ее необычность на первый взгляд – объясняется тем, что корни ее надо искать не только в экономике Мексики, но и в расчетах и вожделениях Соединенных Штатов, и главным образом в них. Есть президенты, которые президентствовали чуть не час, так что когда являлись интервьюеры, президент был уже свергнут и отвечал с раздражением: «Разве вы не знаете, что я был выбран всего на полтора часа».

Такая быстрая смена объясняется отнюдь не живым темпераментом испанцев, а тем, что такого президента выбирают по соглашению со Штатами для спешного и покорного проведения какого-нибудь закона, защищающего американские интересы. С 1894 года (выбор первого президента Мексики, генерала Гвадалупе) за 30 лет сменилось 37 президентов и 5 раз радикально менялась конституция. Прикиньте еще, что из этих тридцати семи тридцать были генералами, а значит, каждое новое вступление сопровождалось оружием, и вам станет немного ясней вулканическая картина Мексики.

В соответствии с этим и приемы борьбы мексиканские.

Перед голосованием, предвидя у противника большинство голосов, лихие делегаты крадут обладателей лишних голосов противной партии и держат до принятия резолюций.

Это не система, но бывает. Генерал вызывает в гости другого, и за кофе – сентиментальный, как и все испанцы, – уже сжимая револьверную рукоять, со слезами уговаривает коллегу:

– Пей, пей, это последняя чашка кофе в твоей жизни.

Конец одного из генералов ясен.

Только в Мексике могут быть такие истории, как история генерала Бланча, позднее рассказанная мне уже в американском Ларедо. Бланча брал города в компании десяти товарищей, сгоняя с гор тысячный табун лошадей. Население города разбегалось и сдавалось, воображая тысячный отряд, справедливо думая, что лошадям одним незачем брать город. Но лошади брали потому, что их гнал Бланча. Бланча был неуловим, то дружа с американцами против мексиканцев, то с мексиканцами против американцев.

Его поймали на женщине. Подосланная красавица выманила его на мексиканскую сторону и в трактире всыпала ему и его товарищу какую-то сонную дрянь. Его сковали вместе с товарищем и бросили скованных в реку, делящую два Ларедо, стреляя из кольтов с лодок.

Очнувшийся от холода, силач-великан Бланча сумел порвать наручники, но его тянул прикованный товарищ.

Их тела вытащили только через несколько дней.

Много идей взлетает искрами от этих сшибающихся людей, отрядов, партий.

Но одна идея объединяет всех, это – жажда освобождения, ненависть к поработителям, к жестоким «гринго», сделавшим из Мексики колонию, отрезавшим половину территории (так что есть города, половина которых мексиканская, вторая – американская), – к американцам, стотридцатимиллионной тушей придавившим двенадцатимиллионный народ.

«Гачупин» и «гринго» – два высших ругательства в Мексике.

«Гачупин» – это испанец. За 500 лет со времени вторжения Кортеса это слово потухло, тлеет, потеряло остроту.

Но «гринго» и сейчас звенит как пощечина (когда врывались в Мексику американские войска, они пели:

Грин-гоу

ди рошес ов…
старая солдатская песня, к по первым словам сократилось ругательство).

Случай:

мексиканец на костылях. Идет с женщиной. Женщина — англичанка. Встречный. Смотрит на англичанку и орет:

— Грингоу!

Мексиканец оставил костыль и вынул кольт.

— Возьми обратно свои слова, собака, или я просверлю тебя на месте.

Полчаса извинений, дабы сгладить страшное незаслуженное оскорбление. Конечно, в этой ненависти к гринго не совсем правильное отождествление понятий — «каждый американец» и «эксплуататор». Неправильное и вредное понимание «нации» так часто парализовало борьбу мексиканцев.

Мексиканские коммунисты знают, что:

500 мексиканских нищих племен,
а сытый,
с одним языком,
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Все больше понимают трудящиеся Мексики, что только товарищи Морена знают, куда направить национальную ненависть, на какой другой вид ненависти перевесть ее.

Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом.
Несись
по земле
из страны мексиканцев
роднящий крик
«Камарада»!
Все больше понимают трудящиеся (первомайская демонстрация — доказательство), чтó делать, чтобы свергнутые американские эксплуататоры не заменились отечественными.

Скинь
с горба
толстопузых обузу,
ацтек,
креол
и метис.
Скорее
над мексиканским арбузом,
багровое знамя взметись.
«Арбузом» называется мексиканское знамя. Есть предание: отряд повстанцев, пожирая арбуз, думал о национальных цветах.

Необходимость быстрой переброски не дала долго задумываться.

— Сделаем знамя — арбуз, — решил выступающий отряд.

И пошло: зеленое, белое, красное — корка, прослойка, сердцевина.

Я уезжал из Мексики с неохотой. Все то, что я описал, делается чрезвычайно гостеприимными, чрезвычайно приятными и любезными людьми.

Даже семилетний Хесус, бегающий за папиросами, на вопрос об имени неизменно отвечал:

— Хесус Пупито, ваш покорный слуга.

Мексиканец, давая свой адрес, никогда не скажет: «Вот мой адрес». Мексиканец оповещает:

«Вы теперь знаете, где ваш дом».

Предлагая сесть в авто, говорит:

«Прошу вас сесть в свой автомобиль».

А письма, даже не к близкой женщине, подписываются:

«Целую следы ваших ног».

Похвалить вещь в чужом доме нельзя — ее заворачивают вам в бумажку.

Дух необычности и радушие привязали меня к Мексике.

Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов.

НЬЮ-ЙОРК

Нью-Йорк. — Москва. Это в Польше? — спросили меня в американском консульстве Мексики.

— Нет, — отвечал я, — это в СССР.

Никакого впечатления.

Визу дали.

Позднее я узнал, что если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи ушки — не его специальность, и он не обязан их знать.

Ларедо — граница С.А.С.Ш.

Я долго объясняю на ломаннейшем (просто осколки) полуфранцузском, полуанглийском языке цели и права своего въезда.

Американец слушает, молчит, обдумывает, не понимает и, наконец, обращается по-русски:

— Ты — жид?

Я опешил.

В дальнейший разговор американец не вступил за неимением других слов.

Помучился и минут через десять выпалил:

— Великороссь?

— Великоросс, великоросс, — обрадовался я, установив в американце отсутствие погромных настроений. Голый анкетный интерес. Американец подумал и изрек еще через десять минут:

— На комиссию.

Один джентльмен, бывший до сего момента штатским пассажиром, надел форменную фуражку и оказался иммиграционным полицейским.

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы хотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

Владелец маленькой сапожной, усадив на низкий стул для примерок, демонстрировал фасоны башмаков, таскал студеную воду и радовался:

Первый русский за три года! Три года назад поп заезжал с дочерьми, сначала ругался, а потом (я ему двух дочек в шантан танцевать устроил) говорит: «Хотя ты и жид, а человек симпатичный, значит, в тебе совесть есть, раз ты батюшку устроил».

Меня перехватил бельевщик, продал две рубашки по два доллара по себестоимости (один доллар — рубашка, один — дружба), потом, растроганный, повел через весь

городок к себе домой и заставил пить теплое виски из единственного стакана для полоскания зубов – пятнистого и разящего одолью.

Первое знакомство с американским сухим противопитейным законом – «прогибишен». Потом я вернулся в мебельный магазин переводчика. Его брат отстегнул веревочку с ценой на самом лучшем зеленом плюшевом диване магазина, сам сел напротив на другом, кожаном с ярлыком: 99 долларов 95 центов (торговая уловка – чтобы не было «сто»).

В это время вошла четверка грустных евреев: две девушки и двое юношей.

– Испанцы, – укоризненно рекомендует брат. – Из Винницы и из Одессы. Два года сидели на Кубе в ожидании виз. Наконец, доверились аргентинцу – за 250 долларов взявшемуся перевезти.

Аргентинец был солиден и по паспорту имел четырех путешествующих детей. Аргентинцам не нужна виза. Аргентинец перевез в Соединенные Штаты четыреста или шестьсот детей – и вот попался на шестьсот четвертых.

Испанец сидит твердо, за него уже неизвестные сто тысяч долларов в банк кладут – значит, крупный.

А этих брат на поруки взял, только зря – досудят и все равно вышлют.

Это еще крупный промышленник – честный. А тут и мелких много, по сто долларов берутся из мексиканского Ларедо в американский переправить. Возьмут сто, до середины довезут, а потом топят.

Многие прямо на тот свет эмигрировали.

Это – последний мексиканский рассказ.

Рассказ брата о брате, мебельщике, первый – американский. Брат жил в Кишиневе. Когда ему стало 14 лет, он узнал понаслышке, что самые красивые женщины – в Испании. Брат бежал в этот же вечер, потому что женщины были ему нужны самые красивые. Но до Мадрида он добрался только в 17 лет. В Мадриде красивых женщин оказалось не больше, чем в каждом другом месте, но они смотрели на брата даже меньше, чем аптекарши в Кишиневе. Брат обиделся и справедливо решил, что для обращения сияния испанских глаз в его сторону ему нужны деньги. Брат поехал в Америку еще с двумя бродягами, но зато с одной парой башмаков на всех троих. Он сел на пароход, не на тот, на который нужно, а на который сесть удалось. По прибытии Америка неожиданно оказалась Англией, и брат по ошибке засел в Лондоне. В Лондоне трое босых собирали окурки, трое голодных делали из окурочного табаку новые папиросы, а потом один (каждый по очереди), облекшись в башмаки, торговал по набережной. Через несколько месяцев табачная торговля расширилась за пределы окурковых папирос, горизонт расширился до понимания местонахождения Америки и благополучие – до собственных башмаков и до билета третьего класса в какую-то Бразилию. По дороге на пароходе выиграл в карты некоторую сумму. В Бразилии торговлей и игрой он раздул эту сумму до тысяч долларов.

Тогда, взяв все имевшееся, брат отправился на скачки, пустив деньгу в тотализатор. Нерадивая кобыла поплелась в хвосте, мало беспокоясь об обнищавшем в 37 секунд брате. Через год брат, перемахнув в Аргентину, купил велосипед, навсегда презрев живую натуру.

Насобачившись на велосипеде, неугомонный кишиневец ввязался в велосипедные гонки.

Чтобы быть первым, пришлось сделать маленькую вылазку на тротуар, – минута была выиграна, зато случайно зазевавшаяся старуха свергнута гонщиком в канаву.

В результате весь крупный первый приз пришлось отдать помятой бабушке.

Брат с горя ушел в Мексику и разгадал нехитрый закон колониальной торговли, – надбавка 300: 100 % – на наивность, 100 % – на расходы и 100 % – спертое при рассрочке платежа.

Сбив опять некоторую толику – перешли на американскую, всякой наживе

покровительствующую сторону.

Здесь брат не погрязает ни в какое дело, он покупает мыловаренный завод за 6 и перепродает за 9 тысяч. Он берет магазин и передает его, за месяц учуяв крах. Сейчас он — уважаемейшее лицо города: он — председатель десятков благотворительных обществ, он, когда приезжала Павлова, за один ужин заплатил триста долларов.

— Вот он, — показал восхищенный рассказчик на улицу. Брат носился в новом авто, так и так пробуя его; он продавал свою машину за семь и бросался на эту в двенадцать.

На тротуаре подобострастно стоял человек, улыбался, чтобы видели золотые коронки, и, не останавливая глаз, стрелял ими за машиной.

— Это — молодой галантерейщик, — объяснили мне. — Он с братом здесь всего четыре года, а уже два раза в Чикаго за товаром ездил. А брат — ерунда, какой-то греческий, все поэзию пишет, его в соседний город учителем определили, все равно толку не будет.

В радости русскому, с фантастическим радушием водил меня мой новый знакомец по улицам Ларедо.

Он забегал передо мной, открывая двери, кормил меня длиннейшим обедом, страдал при едином намеке на оплату с моей стороны, вел меня в кино, смотря только на меня и радуясь, если я смеюсь, — все это без малейшего представления обо мне, только за одно слово — москвич.

Мы шли на вокзал по темным пустеньким улицам — по ним, как всегда в провинции, разыгралась свободная административная фантазия. В асфальте (чего я никогда не видел даже в Нью-Йорке) белые полосы точно указывали место перехода граждан, огромные белые стрелки давали направление несуществующим толпам и автомобилям, и за неуместный переход по пустеющим улицам взимался чуть не пятидесятирублевый штраф. На вокзале я понял все могущество мебельного брата. От Ларедо до Сан-Антонио всю ночь будят пассажиров, проверяют паспорта в погоне за безвизными перебежчиками. Но я был показан комиссару, и я безмятежно проспал первую американскую ночь, вселяя уважение пульмановским вагонным неграм.

Утром откатывалась Америка, засвистывал экспресс, не останавливаясь, вбирая хоботом воду на лету. Кругом вылизанные дороги, измурашенные фордами, какие-то строения технической фантастики. На остановках виднелись техасские ковбойские дома с мелкой сеткой от комаров и москитов в окнах, с диванами-гамаками на огромных террасах. Каменные станции, перерезанные ровно пополам: половина для нас, белых, половина — для черных, «фор нигрос», с собственными деревянными стульями, собственной кассой — и упаси вас даже случайно залезть на чужую сторону!

Поезда бросались дальше. С правого боку взвивался аэро, перелетал на левую, вздымался опять, перемахнув через поезд, и несся опять по правой.

Это — сторожевые пограничные американские аэропланы.

Впрочем, почти единственно виденные мной в Соединенных Штатах.

Следующие я видел только в трехдневных аэрогонках в ночной рекламе над Нью-Йорком.

Как ни странно, авиация развита здесь сравнительно мало.

Могущественные железнодорожные компании даже каждую воздушную катастрофу смакуют и используют для агитации против полетов.

Так было с разорванным пополам (уже в мою бытность в Нью-Йорке) воздушным кораблем Шенандоу, когда тринадцать человек спаслись, а семнадцать вслизились в землю вместе с окрошкой оболочки и стальных тросов.

И вот в Соединенных Штатах почти нет пассажирских полетов.

Может, только сейчас мы накануне летающей Америки. Форд выпустил первый свой аэроплан и поставил его в Нью-Йорке в универсальном магазине Ванамекер, — там, где много лет назад был выставлен первый авто-фордик.

Ньюйоркцы влазят в кабину, дергают хвост, гладят крылья, — но цена в 25 000 долларов еще заставляет отступать широкого потребителя. А пока что аэропланы взлетали до Сан-Антонио, потом пошли настоящие американские города. Мелькнула американская Волга — Миссисипи, огорошил вокзал в Сан-Луисе, и новью в просветах двадцатиэтажных небоскребов Филадельфии уже сияло настоящее дневное рекламное нежалеемое, неэкономимое электричество.

Это был разбег, чтобы мне не удивляться Нью-Йорку. Больше, чем вывороченная природа Мексики поражает растениями и людьми, ошарашивает вас выплывающий из океана Нью-Йорк своей навороченной стройкой и техникой. Я въезжал в Нью-Йорк с суши, ткнулся лицом только в один вокзал, но хотя и был приучаем трехдневным проездом по Техасу — глаза все-таки растопырил.

Много часов поезд летит по Гудзонову берегу шагах в двух от воды. По той стороне — другие дороги у самого подножья Медвежьих гор. Гуще прут пароходы и пароходики. Чаще через поезд перепрыгивают мосты. Непрерывней прикрывают вагонные окна встающие стены — пароходных доков, угольных станций, электрических установок, сталелитейных и медикаментных заводов. За час до станции въезжаешь в непрерывную гущу труб, крыш, двухэтажных стен, стальных ферм воздушной железной дороги. С каждым шагом на крыши нарастает по этажу. Наконец дома подымаются колодезными стенками с квадратами, квадратиками и точками окон. Сколько ни задирай головы — нет верхов. От этого становится еще теснее, как будто щекой трешься об этот камень. Растерянный, опускаешься на скамейку — нет надежд, глаза не привыкли видеть такое; тогда остановка — Пенсильвэния-стэйшен.

На платформе — никого, кроме негров-носильщиков. Лифты и лестницы вверх. Вверху — несколько ярусов галерей, балконов с машущими платками встречающей и провожающей массы.

Американцы молчат (или, может быть, люди только кажутся такими в машинном грохоте), а над американцами гудят рупоры и радио о прибытиях и отправлениях.

Электричество еще двоится и троится белыми плитками, выстилающими безоконные галереи и переходы, прерывающиеся справочными бюро, целыми торговыми рядами касс и никогда не закрывающимися всеми магазинами — от мороженных и закусочных до посудных и мебельных.

Едва ли кто-нибудь представляет себе ясно целиком весь этот лабиринт. Если вы приехали по делу в контору, находящуюся версты за три в Дантауне — в банковском, деловом Нью-Йорке, в каком-нибудь пятьдесят третьем этаже Вульворт Бильдинг, и у вас совиный характер, — вам незачем вылазить из-под земли. Здесь же, под землей, вы садитесь в вокзальный лифт, и он взвивает вас в вестибюль Пенсильвэния-отель, гостиницы с двумя тысячами всевозможных номеров.

Все, что нужно торгующему гражданину: почты, банки, телеграфы, любые товары, — все найдешь здесь, не выходя за пределы отеля.

Здесь же сидят какие-то смышленые маменьки с недвусмысленными дочерьми.

Иди танцуй.

Шум и табачный чад, как в долгожданном антракте громадного театра после длинной скучной пьесы.

Тот же лифт опустит вас к подземке (собвей), берите экспресс, который рвет версты почище поезда. Слезаете вы в нужном вам доме. Лифт завинчивает вас в нужный этаж без всяких выходов на улицу. Та же дорога вывертит вас обратно на вокзал, под потолок-небо, пенсильванского вокзала, под голубое небо, по которому уже горят Медведицы, Козерог и прочая астрономия. И сдержанный американец может ехать в ежеминутных поездах к себе на дачную качалку-диван, даже не взглянув на гоморный и содомный Нью-Йорк.

Еще поразительнее возвышающийся несколькими кварталами вокзал Гранд-Централ.

Поезд несется по воздуху на высоте трех-четырех этажей. Дымящий паровоз сменен чистеньким, не плюющимся электровозом, — и поезд бросается под землю. С четверть часа под вами еще мелькают увитые зеленью решетки просветов аристократической тихой Парк-Авеню. Потом и это кончается, и полчаса длится подземный город с тысячами сводов и черных тоннелей, заштрихованных блестящими рельсами, долго бьется и висит каждый рев, стук и свист. Белые блестящие рельсы становятся то желтыми, то красными, то зелеными от меняющихся семафоров. По всем направлениям — задушенная сводами, кажущаяся путаница поездов. Говорят, что наши эмигранты, приехавшие из тихой русской Канады, сначала недоумевающе вперяются в окно, а потом начинают реветь и голосить:

— Пропали, братцы, живьем в могилу загнали, куда ж отсюда выберешься?

Приехали.

Над нами ярусы станционных помещений, под залами — этажи служб, вокруг — необозримое железо дорог, а под нами еще подземное трехэтажие собвея.

В одном из фельетонов «Правды» товарищ Поморский скептически высмеял вокзалы Нью-Йорка и поставил им в пример берлинские загоны — Цоо и Фридрихштрассе.

Не знаю, какие личные счеты у товарища Поморского с нью-йоркскими вокзалами, не знаю и технических деталей, удобства и пропускных способностей, но внешне — пейзажно, по урбанистическому ощущению, нью-йоркские вокзалы — один из самых гордых видов мира.

Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы, движения двоятся, троятся и десятерятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голосенки узеньких стритов, также по линеечному ровно режущих Мангеттен поперек от воды к воде. Под навесами, — а в бездождный день просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршивого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает бубликоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари — черно-лиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи — непрерывно белые. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими, почти безостановочными, и местными, через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого, — и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом на всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов, — только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом, — грохот, в котором действительно не разберешь ни слова и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятимиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженых, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт, — лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже, — вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут — пересядьте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными лентами, и двенадцать тысяч бланков вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сандвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно — они могут и опоздать на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой

облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольтом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают сглодать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещеваемая полицейским. Способность развлекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На люднейшей 5-й авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть — восемь рядов рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.

Тогда машинный и человечий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедля улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, — крыло, так сказать: на самом деле это — хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет навкось. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню, мне нужна 53-я, угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвеище (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер, — это, как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое, что на нем светлей, чем

днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеваные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объеденные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Хилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии, — и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки, — зовутся здесь «Авеню смерти»

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул тюрьмы Синг-Синг. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит

залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские – живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,

500 000 немцев,

300 000 ирландцев,

300 000 русских,

250 000 негров,

150 000 поляков,

300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский – стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается, – так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик коптят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь йодом: воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц – не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское миросозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаха. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и Черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его, и где

его дама будет млеть и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грант или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингама и мятую траву.

Кто богаче – уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедля и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет, – и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастия, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль – рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки – не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы – это сделают за него бесчисленные починочные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

Вообще в спортсменство Америки я не верю.

Спортом занимаются главным образом богатые бездельницы.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, – но это не интерес спортсменов, это – хилый интерес азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это – в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский файф-о-клок.

Хозяин запасся бутылками матросского «джина» и лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб файф-о-клок носил целомудренный и артистический характер – играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые – похуже. Победнее едят дома свежекупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглачиваемом.

Побогаче – едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце – канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементами в опере, где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессоветно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

– Не могу же я здесь жить, – капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы, – не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа – булочник, а слева – парикмахер.

После обеда состоятельным – театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам – прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай – только не американцами, а китайцами.

Парам победнее – многоместный автобус на «Кони-Айланд» – Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски, с танцами и фоном – фотографией острова, чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах – и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира – женщина с бородой, человек-птица, женщина на трех ногах и т. п. – существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд – приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до

города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть лунапарк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель, — и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, т. е., считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего американца, веселого «аттабоя».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарахтения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых наседок. И до сих пор ньюйоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар – единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любуется зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

– Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

– Мек моней? (Делаешь деньги?) – и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

– Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

– Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

– Вы выглядите на миллион долларов.

О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, – поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

– Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом, и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все – «бизнес», дело, – все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы – бизнес, обокрал, не поймали – тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки, приволакивает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

– Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

– Как же драться, не ругаясь? – сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля – пятнадцати».

Желающихся выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями – набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

– Ну, хором – «дурак»!

– Дурак!

– Сволочь!

– Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленые американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности – мистеру Ригельману надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги – больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным дощатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше, – докажи, и сам хозяин набавит.

Титул – пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем-мужем графом, вместе с пакеновскими моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь – извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Объявление в газетах:

Желает миллионер

удочерить шестнадцатилетнюю

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение) – по-детски распустившую волосья, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Марииным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше; «фифти-фифти», как говорят американцы, — в общем, какая разница?

Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти-Сенчери» экспресса.

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабачка, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозится, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников – армия – один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и собравшиеся поделились на два лагеря – одни за стриженых американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство; за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте – проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, – даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами, и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Такими же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили – снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты – ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы – массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица – это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920–1921 года, когда 80 000 безработных спали в Централ-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть – опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая – революционный пролетариат – настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции, – такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных – локалы,

второй, девятый и двадцать второй – повели долгую борьбу против «вождя», председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена «Объединенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30 000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией – по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щоденнівісті» (украинская) и финская.

«Дейли Воркер», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы – не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений – наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч – тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно – потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.А.С.Ш. не занимают даже всю Северную – а вот поди ж ты! – отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету – получишь летчиков.

Что Америка и САСШ одно и то же – знали все. Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например, Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем немало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не

обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд – экспресс, каждый – курьерский и каждый – скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой – 24, третий – 20 и все называются одинаково – экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, – то все ваше существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки – все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтобы пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, – вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься, – затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и – проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше европейское деление на купе даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило – это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию – экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точность прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного. Возможно, что уклончивый ответ объяснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее – железо. Железо – полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими – и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта – снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные – однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет полгорода, кажутся

неохраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается — от рваческого, завоевательного характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности — и дома Америки, в общем, производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что на вершине огромного дома стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковей-бич (нью-йоркский дачный поселок; пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком карельском портсигаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки одного названия, одной формы. Дома насажены, как пассажиры весеннего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресенье вечером. Открыв окно уборной, вы видите все, делающееся в соседней уборной, а если у соседа приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке уличек вытянулись, как солдаты на параде — ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шепот влюбленного соседа, но сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посредине стройки подымают фермчатый подъемный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто в насморке вся техника) в

твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей садящиеся на место, — только сбей да свинти!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очень тесно (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов, к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей…»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей…»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцетти и других товарищей) приговариваются к смерти — и целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов:

— Вельком, Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными

жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты «The Filadelfia Inquirer»[3], выкидывающей ротационками 450 000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализованной, очевидно, для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и более чем странное — осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину.

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакинтошенные полисмены.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров и оповещать нанятых обманным путем.

Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — на ходу. Своеобразный десятичасовой скороходный рабочий день.

Неменьшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечно, объединение иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли), — они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками — открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надпись:

«ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО АНГЛИИСКИ

И ПОНИМАЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупослового американца, чем сыплющего словами русского.

Русский называет:

трамвай — стриткарой,

угол — корнером,

квартал — блоком,

квартиранта — бордером,

билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без меняния пересядок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают помесь из эксцентричных бродяг О'Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т. е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity»[4]. Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами, негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное.

Поэтому духом интересуются мало, и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу — и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и другими.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Мангеттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами, — вещь, еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятелей искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

Чикаго. В 1920 году в выдуманной поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической,—
город в ней стоит
на одном винте —
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!
Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Сандбург — сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн» — этот самый Сандбург описывает Чикаго так:

Чикаго,
Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба,
Играющий железными дорогами грузчик страны,
Бурный хриплый задира.
Город широких плеч…
«…Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда — я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой, — это высокий дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строящий, ломающий, восстанавливающий.
Смеющийся бурным, хриплым задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, производит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйственных машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре Bush street bridge[5].

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу.

Всё самое, самое самое…

Что это за город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов — отличен не домами, не людьми, а своей особой по-чикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.

Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже пятидесятисемиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскребная часть узка, притиснута к берегу громадой фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак-Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйственных машин центральней, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-Дам.

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние — неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, — стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерьма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луж и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь, — они вверх ногами проползают мимо ирландца

или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней в день режет каждый – хвастался боенский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники – и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками.

Вильсон!

Стар!

Свифт!

Гамонд!

Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно объединение, один трест. В этом тресте главный – Армор – судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10–15 тысяч.

400 миллионов долларов – общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров – рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку – один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста – в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную уличку Нью-Йорка – Волстрит, улицу банков, улицу – фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Волстрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту уличку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Волстрит – первая столица, столица американских долларов. Чикаго – вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго – место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей – один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета – «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно – а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров, – так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак-Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонс, Луи Линг и Жорж Энгель – были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники – но даже внешность города, даже его наружная жизнь показывает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается подъемный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие автофонари перекрестков и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили б стояли и в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы, это – в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и непохоже.

Сандбург описал и неверно и непохоже.

Я описал неверно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не

видавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок — наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

Детройт — второй и последний американский город, на котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно дóроги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый мир» и «Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, поминающие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно, относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе бойкого предпринимателя-менаджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Мондейморнинг — опера-клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажем, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы приуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины? Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало — есть у Форда какой-то бессловесный приказ о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например, Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25–35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль, — то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард.

Кадиляк,

бр. Дейч, вторая в мире — 1500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами. Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиасборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда… непревзойденная модель автомобиля… последователи Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая, как всякая совершенная система, только и гарантирует лучшую организацию…» и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источник радости (социалист!); если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал!). «Шеф (Форд) компаньон своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела — и тогда он кандидат в Форды», и т. д. и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги — о них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламами, грудами лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих вид как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с-под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже знакомый по кино, — но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, с летающими над головой на цепях подъемных кранов тысячами пудов коленчатых валов, мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два

года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».

Вечером мне говорили фордовцы – рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

– Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: «Мне не надо, чтоб вы плевались, – мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться надо вам – покупайте плевательницы сами».

…Техника – это ему техника, а не нам.

…Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз – стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

…На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

…Расчет – без всяких выходных.

…А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

…Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.

…Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день), на самом деле – чистая сдельщина.

…А как с Фордом бороться?

…Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80 % иностранцев.

…Как вести агитацию на 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, – люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилев.

В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТЪЕЗД
Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства – свидетельство о том, что налоги Америки с заработавших в ней внесены и что в страну этот человек въехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет – и я на французской территории, обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компани-нейшенал – нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень – время бурь, и люди будут лежать влежку все 8 дней.

При приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький – особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бильдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бененсон-бильдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились с пристанью Соутонфери. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них – американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплытия, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть этим объяснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаза женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

– регардэ –

даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали томболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

Первое. Футуризм голой техники, поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики – этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это

делает Амторг.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб – в котором жить нельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейтеров плюет пыль, и кажется – поезда переезжают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить глушители – нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

Второе. Разделение труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим – продадим, хотим – купим. Не согласитесь работать – выждем, забастуете – возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным – палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанные рабочих, в которых после хорошо сорганизованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли, сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц – и грозное слово «депортация» далеко отдаляют какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки – для СССР – задача каждого проезжающего Американами.

Третье. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги взаймы даются всем – даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый пóтом до того, что неудивительно, что он вырос и на второй этаж, – этим бывшим может казаться, что их задача – следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, – тогда история сможет написать

хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель моих очерков – заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калеками, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается – «счастье»), а мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали моментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за свое, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

[1925–1926]

МЕКСИКА
Вера-Круц – порт Мексики.

Сюда подплывали открыватели Америки, отсюда в 1519 году напали на Мексику испанские завоеватели – войска генерала Кортеса. От этих маисовых полей к столице подымаются восстания революционных крестьян, в эту гавань вплыл и я.

Первое бросившееся в глаза – красное знамя с серпом и молотом на одном из домов пристани, – нет, это не отделение советского консульства. Этот флаг вывешивают на доме члены «союза неплательщиков за квартиру» – организация – гроза домовладельцев. Въехали, вывесили флаги и даже не интересуются вершками жилплощади.

Как непохожи носильщики – индейцы на героев Купера, легендарных (только на мексиканских плакатах оставшихся) краснокожих, горящих перьями древней птицы Кетцаль, птицы – огонь.

«Гачупин» – добродушное презрительное название (время стерло злобу) первых завоевателей Мексики – испанцев.

«Гринго» – кличка американцам, высшее ругательство в стране.

Кактусовый «пульке» – полуводка, полупиво, – это все что осталось от древней и ацтекской Мексики.

Памятник Гватémоку, вождю ацтеков, отстаивавшему город от испанцев, да черная память о предавшем последнем индейском царе – Моктецуме.

Потом чехарда правительств. За 30 лет – 37 президентов: Гваделупы, Хуэрты, Хуаэрецы, Диецы.

И сейчас стоит в тропическом саду Чапультапеке дворец генерала Кайеса.

Быть министром Мексики – доходная профессия; даже министра труда, «рабочего министра» – Маронеса рисуют не иначе, как с бриллиантами во всех грудях и манжетах.

Кроме таких «рабочих вождей», есть и другие — водители молодой коммунистической партии Мексики.

Через расстрелянного вождя крестьянской революции Запату к коммунисту — депутату Вера-Круц (недавно убитому президентскими бандами) Морено — один путь, одна линия борьбы за свободу и жизнь мексиканских рабочих и крестьян.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали по «независящим обстоятельствам» на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваши марши, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше 33» (калибр кольта).

Морено убили.

Но товарищи, стоящие рядом, — Гальван, делегат Крестинтерна, Карйо — секретарь партии, Монсон и др. твердо верят и знают, что над мексиканским арбузом («зеленое, белое и красное» знамя Мексики введено «по преданию» отрядом, отдыхавшим после сражения, прельщенным цветами поедаемого ими арбуза) взметнется красное знамя первой коммунистической революции Америки.

[1925]

АМЕРИКАНСКОЕ КОЕ-ЧТО

Жителей в США миллионов сто десять. От Ларедо через Техас до Нью-Йорка — четверо суток курьерским. Вдоль. Поперек от того же Нью-Йорка до Сан-Франциско суток пять.

В такой стране надо жить.

А я только был — и то всего три месяца. Америку я видел только из окон вагона. Однако по отношению к Америке это звучит совсем немало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний.

Три поезда. Один из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой 24, третий 20, и все называются одинаково — экспресс.

В экспрессах — люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. В 9 часов вечера два негра начинают ломать дневной вагон, опускают выстланные в потолок кровати, разворачивают постель, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтоб по бокам вдоль вагона установить в два яруса всего двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий даже не проход, а пролаз. Чтоб пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать задами уборщиков, буквально с головой ушедших в постилаемую койку. Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, вдвоем, особенно с лестницей, влезая на второй ярус, почти не разминаешься, затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон.

Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов раздевающихся напротив вас шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную (по-египетски!) высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9-ти утра начинается вакханалия разборки вагона и приводки вагона в сидящий вид. На остановках пассажиры выбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее железо — железо полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, вывески университетов, под ними площадки футболистов с разноцветными играющими, техника, техника и техника.

В этой технике есть одна странная черта — внешне эта техника производит

недоделанное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные – однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные. Впрочем, это может объясняться трамвайным обилием.

Говорят, из Нью-Йорка в Чикаго можно проехать только трамваем – без применения поездов. Огромные газовые вместилища, способные от спички взорваться и снести полгорода, кажутся неохраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается, от рваческого, завоевательского характера американского развития.

Американская техника, пожалуй, шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники, культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки, и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах автомобильной езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили очевидно для себя и мало заботились об условиях проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после спроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности и дома Америки в общем производят странное временное впечатление. Тем более, что рядом с небоскребом часто видишь настоящую деревянную лачужку.

На вершине огромного дома стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащий разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно проступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был два часа на Раковей-бич (нью-йоркский дачный поселок – пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки одного названия, одной формы.

Эти постройки, эти поселки – совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Вся Америка – Нью-Йорк в частности – в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтоб строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные – чтобы тридцати; тридцати – чтобы сорока.

Проносясь над Нью-Йорком в элевейтере, всегда видишь груды камней и других строительных материалов – слышишь визг сверл и удары молотов.

Американцы строят так, как будто дают спектакль – в тысячный раз разыгрывают интереснейшую разученнейшую пьесу.

Оторваться от этого зрелища высшей ловкости и сметки невозможно.

На твердейшую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высыпает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы.

Посередине стройки вздымается фермчатый подъемный кран. Кран берет стальные

трубы и вбивает их паровым молотом (сопящим, будто простудилась вся техника) в землю, легко — как обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу, да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают стальные стойки, и перекладины без всяких шероховатостей садятся на место. Только сбей да свинти!

Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: здесь ему тесно (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста), поэтому его переносят отсюда за десять кварталов к озеру.

Но ни временные, ни стандартизированные постройки не идут в сравнение с жильем низших по заработку рабочих.

Стандартизированный дачный домишко в сравнении с их жилищем — Зимний дворец. Я смотрел в Кливлэнде вытянувшиеся вровень с трамвайной рельсой хибарки негров. Негров с лежащих здесь же в безмерной канаве бесчисленных рокфеллеровских заводов масел.

Грязные, с выбитыми стеклами, заклеенными газетами, с покосившимися, слезшими с петель дверьми.

А главное без всяких надежд при теперешних американских условиях перелезть во что-нибудь лучшее.

Когда еще вырастут в миллионы коммунистов эти отделы рабочей партии?

Когда еще вырастут в солдат революции эти чикагские пионеры?

Когда, не знаю — но раз есть, то вырастут.

[1926]

СВИНОБОЙ МИРА

У чикагца, знаменитейшего сегодняшнего поэта Соединенных Штатов Карла Сандбурга, революционера американской поэзии, вынужденного писать о пожарах в богатейшей газете — тираж 3 000 000 — «Чикаго-Трибюн», так описывается Чикаго:

Чикаго,
Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба,
Играющий железными дорогами грузчик страны,
Бурный, хриплый задира,
Город широких плеч…
«…Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда — я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой, — это высокий дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строящий, ломающий, восстанавливающий.
Смеющийся бурным, хриплым задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, производит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

В Чикагском путеводителе написано:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре — Bush street bridge[6]».

Все самое, самое, самое…

Чем же это город Чикаго?

Чикаго (несмотря на все противоречия с официальными указателями) — столица Соединенных Штатов.

Не официальная столица, вроде Вашингтона, не показная «для втирания очков» столица, вроде Нью-Йорка!

Настоящая столица, настоящее сердце промышленности, наживы и вместе с тем сердце борьбы американского пролетариата.

А чтоб это сердце и выглядело настоящим кровавым сердцем, то главное биение жизни города — это живодерня, это бойня.

Одна бы из них и то затмила наши места убиенья скотов — а их десятки!

Свифт! Стар! Вильсон! Гамонд! Армор! Впрочем, это для виду. Фактически это части одного убойного треста. Только выставили разные вывески, чтоб обойти антитрестовский закон.

Король треста — Армор.

По Армору судите об остальных.

У Армора свыше 100 000 рабочих, одних конторщиков имеет Армор 10–15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение остальных боенских рабочих.

Проводники по Арморовским предприятиям особенно упирают на этот пункт. Знаменитый тезис американских капиталистов: шеф — только компаньон своего рабочего.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и 10 % мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест весь мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор выпускал 4-летние консервированные яйца и двадцатилетнее мясо — добрый призывной возраст.

Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы

въезжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние, – неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, – стоит над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерьма миллионов скотов.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луж и жидкой грязи перепархивают то на глаза коровьи, то на ваши.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за их живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь – они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По нескольку тысяч свиней в день режет каждый – хвастался боенский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники – и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем полным ходом по мосту арморовской компании.

Проводник по Армору с восторгом давал мне материал об Арморе. Реклама! А упоминание об отсутствии спроса на их консервы в СССР вызвало чуть не слезы уныния.

[1926]

ЕЗДИЛ Я ТАК

Я выехал из Москвы 15 апреля. Первый город Варшава. На вокзале встречаюсь с т. Аркадьевым, представителем ВОКСа в Польше, и т. Ковальским, варшавским ТАССом. В Польше решаю не задерживаться. Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращенные ко мне:

«…И вот ты написал блестящие страницы,
Ты между нас возник как некий острозуб…» и т. д.,–
я все же предпочел не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика.

Я хотел ездить тихо, даже без острозубия.

В первый приезд я встретился только с самыми близкими нашими друзьями в Польше: поэт Броневский, художница Жарновер, критик Ставер.

На другой день с представителем Вокса в Чехословакии, великолепнейшим т. Калюжным, выехали в Прагу.

На Пражском вокзале – Рома Якобсон. Он такой же. Немного пополнел. Работа в отделе печати пражского полпредства прибавила ему некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах.

В Праге встретился с писателями-коммунистами, с группой «Деветсил». Как я впоследствии узнал, это – не «девять сил», например, лошадиных, а имя цветка с очень цепкими и глубокими корнями. Ими издается единственный левый, и культурно и политически (как правило только левые художественные группировки Европы связаны с революцией), журнал «Ставба». Поэты, писатели, архитектора: Гора, Сайферт, Махен, Библ, Незвал, Крейцер и др. Мне показывают в журнале 15 стихов о

Ленине.

Архитектор Крейцер говорит: «В Праге, при постройке, надо подавать проекты здания, сильно украшенные пустяками под старинку и орнаментированные. Без такой общепринятой эстетики не утверждают. Бетон и стекло без орнаментов и розочек отцов города не устраивает. Только потом при постройке пропускают эту наносную ерунду и дают здание новой архитектуры».

В театре левых «Освобозене Дивадло» (обозрение, мелкие пьески, мюзикхолльные и синеблузные вещи) я выступил между номерами с «Нашим» и «Левым» маршами.

«Чай» в полпредстве — знакомство с писателями Чехословакии и «атташэ интеллектюэль» Франции, Германии, Югославии.

Большой вечер в «Виноградском народном доме». Мест на 700. Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1500 человек.

Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150 000 000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста. Скучная и трудная работа. Подписи — чехословацкая страсть. Подписывал всем — от людей министерских до швейцара нашей гостиницы.

Утром пришел бородатый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор и Милюков, и требовал автографа, и обязательно по славянскому вопросу: как раз — пятидесятилетие балканской войны. Пришлось написать:

Не тратьте словá
на братство славян.
Братство рабочих —
и никаких прочих.
Привожу некоторые отзывы о вечере по якобсоновскому письму:

а) В газете социалистических легионеров (и Бенеша) «Národni osvobozeni» от 29/IV сообщается, что было свыше тысячи человек, что голос сотрясал колонны и что такого успеха в Праге не имел еще никто!

б) Газета «Lid. Nov» от 28/IV сожалеет о краткости лекции, отмечает большой успех, остроумие новых стихотворений, излагает лекцию.

в) В официальной «Ceskoslov. Republika» — отзыв хвалебный (сатира, ораторский пафос и пр.), но наружность не поэтическая.

г) В мининдельской «Prager Presse» — панегирик.

д) В коммунистической «Rudé Právo» — восторгается и иронизирует по поводу фашистских газет «Večerni list» и «Národ» (орган Крамаржа), которые возмущены терпимостью полиции и присутствием представителей мининдела, сообщают, что ты громил в лекции Версальский мир, демократию, республику, чехословацкие учреждения и Англию и что английский посланник пошлет Бенешу ноту протеста.

Этих газет тебе не посылаю, потерял, но посылаю следующий номер «Národ», который суммирует обвинения и требует решительных мер против «иностранных коммунистических провокаторов».

«Národni osvobozeni» от 29/IV насмехается над глупой клеветой газеты «Národ».

…Из Праги я переехал в Германию. Остановился в Берлине от поезда до поезда, условясь об организации лекции.

На другой день — 3 часа — Париж.

Когда нас звали на чествование Дюамеля в Москве, Брик, основываясь на печальном

опыте с Мораном и Берро, предложил чествовать французов после их возвращения во Францию, когда уже выяснится, что они будут писать об СССР.

Первым мне попалось в Париже интервью с Дюамелем. Отношение к нам на редкость добросовестное. Приятно.

С Дюамелем и Дюртеном мы встретились в Париже на обеде, устроенном французскими писателями по случаю моего приезда.

Были Вильдрак — поэт-драматург, автор «Пакетбота Тенеси», Рене — редактор «Европы», Бушон — музыкант, Базальжетт — переводчик Уитмена, Мазарель, известный у нас по многим репродукциям художник, и др.

Они собираются на свои обеды уже с 1909 года.

Люди хорошие. Что пишут — не знаю. По разговорам — в меру уравновешенный, в меру независимые, в меру новаторы, в меру консерваторы. Что пишут сюрреалисты (новейшая школа французской литературы), я тоже не знаю, но по всему видно — они на лефовский вкус.

Это они на каком-то разэстетском спектакле Дягилева выставили красные флаги и Стали говор спектакля покрывать Интернационалом.

Это они устраивают спектакли, на которых действие переходит в публику, причем сюрреалистов бьет публика, публику бьют сюрреалисты, а сюрреалистов опять-таки лупят «ажаны». Это они громят лавки церковных украшений с выпиленными из кости христами.

Не знаю, есть ли у них программа, но темперамент у них есть. Многие из них коммунисты, многие из них сотрудники «Кларте».

Перечисляю имена: Андрей Бретон — поэт и критик, Луи Арагон — поэт и прозаик, Поль Элюар, поэт, Жан Барон и др.

Интересно, что эта, думаю, предреволюционная группа начинает работу с поэзии и с манифестов, повторяя этим древнюю историю лефов.

Большой вечер был организован советскими студентами во Франции. Было в кафе «Вольтер». В углу стол, направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу «кор-а-кор», стоим ноздря к ноздре. Странно смотреть на потусторонние, забытые с времен «Бродячих собак» лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в челке. Сначала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому не привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались — сочувствовали. И даже вслух завидовали: «Эх, нам бы такой голос».

Приблизительно такой же отзыв был помещен и в парижских «Последних новостях».

Было около 1200 человек.

Берлин. Чай, устроенный обществом советско-германского сближения.

Прекрасное вступительное слово сказал Гильбо (вместо заболевшего т. Бехера).

Были члены общества: ученые, беллетристы, режиссеры, товарищи из «Ротэ Фанэ»; как говорит товарищ Каменева, «весь стол был усеян крупными учеными». Поэт был только один — говорят (Роган говорил), в Германии совестятся писать стихи — глупое занятие. Поэт довольно престарелый. Подарил подписанную книгу. Из любезности открыл первое попавшееся стихотворение — и отступил в ужасе. Первая строчка, попавшаяся в глаза, была: «Птички поют» и т. д. в этом роде.

Положил книгу под чайную скатерть: когда буду еще в Берлине — возьму.

Отвел душу в клубе торгпредства и полпредства «Красная звезда». Были только свои. Товарищей 800.

В Варшаве на вокзале встретил чиновник министерства иностранных дел и писатели «Блока» (левое объединение).

На другой день начались вопли газет.

— Милюкову нельзя — Маяковскому можно.

— Вместо Милюкова — Маяковский и т. д.

Оказывается, Милюкову, путешествующему с лекциями по Латвии, Литве и Эстонии, в визе в Польшу отказали. Занятно.

Я попал в Варшаву в разгар политической борьбы: выборы.

Список коммунистов аннулирован.

Направо от нашего полпредства — полицейский участок. Налево — клуб монархистов. К монархистам на автомобилях подъезжают пепеэсовцы. Поют и переругиваются.

Мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это ни к чему.

Ограничился свиданиями и разговорами с писателями разных группировок, пригласивших меня в Варшаву.

С первыми — с «Дзвигней». «Дзвигня» — рычаг. Имя польского левого журнала.

Это самое близкое к нам.

Во втором номере — вижу переведены и перепечатаны письма Родченко, так великолепно снижающие Париж. Хвалить Париж — правительственное дело. Он им займы дает. (Чего это Лувр Полонскому втемяшился — Полонскому с него даже займа нет!) Бороться против иностранной мертвой классики за молодую живую польскую литературу и культуру, левое и революционное — одно из дел «Дзвигни».

Интереснейшие здесь: поэт Броневский, только что выпустивший новую книгу стихов «Над городом». Интересно его стихотворение о том, что «сыщик ходит между нами». Когда оно читалось в рабочем собрании, какие-то молодые люди сконфуженно вышли.

Поэт и работник театра Вандурский. Он один на триста тысяч лодзинских рабочих. Он ведет свою работу, несмотря на запрещения спектаклей, разгромы декораций и т. д. Одно время он начинал каждое действие прологом из моей «Мистерии-буфф».

Критик Ставер.

Художница Жарновер — автор обложки «Дзвигни», и др.

Следующая встреча — с большим объединением разных левых и левствующих, главным образом «Блока» (не Александра).

Первыми вижу Тувима и Слонимского. Оба поэты, писатели и, кстати, переводчики моих стихов.

Тувим, очевидно, очень способный, беспокоящийся, волнующийся, что его не так поймут, писавший, может быть и сейчас желающий писать, настоящие вещи борьбы, но, очевидно, здорово прибранный к рукам польским официальным вкусом. Сейчас выступает с чтениями стихов, пишет для театров и кабаре.

Слонимский спокойный, самодовольный. Я благодарю его за перевод «Левого марша». Слонимский спрашивает: «И за ответ тоже?» Ответ его вроде шенгелевского совета (удивительно, наши проплеванные эстеты с иностранными беленькими как-то случайно солидаризируются) — вместо «левой, левой, левой» он предлагает «вверх, вверх, вверх».

Говорю: «За «вверх» пускай вас в Польше хвалят».

Я не перечисляю друзей из «Дзвигни». Кроме них: Захорская – критик, Пронашко – художник-экспрессионер, Рутковский – художник, Стэрн – поэт, Ват – беллетрист и переводчик, и др.

Читаю стихи. При упоминании в стихе «Письмо Горькому» имени Феликса Эдмундовича вежливо спрашивают фамилию и, узнав, – умолкают совсем.

Последняя встреча – с «Пен-клубом». Это разветвление всеевропейского «Клуба пера», объединяющее, как всегда, маститых.

Я был приглашен. Я был почти их гостем.

Утром пришел ко мне Гетель – председатель клуба.

Человек простой, умный и смотрящий в корень. Вопросы только о заработках, о профессиональной защите советского писателя, о возможных формах связи. Гетель увел меня на официальный завтрак с узким правлением – маститых этак шесть-семь.

Разговор вертелся вокруг способов получения авторских гонораров за переводимые Советским Союзом, хотя бы и с кроющими примечаниями, вещи. Малость писателей завтракающих при большом количестве членов объясняется, должно быть, дороговизной завтраков и боязнью, как бы из-за меня чего не вышло, а им чего не попало.

Общие выводы.

По отношению к нам писатели делятся на три группы: обосновавшиеся и признанные своей буржуазной страной, которые и не оборачиваются на наше имя, или вполне хладнокровны, или клевещут. Центр – это те, степень сочувствия которых измеряется шансами на литературную конвенцию и связанною с ней возможностью получить за переводы. Последние, это первые для нас, – это рабочие писатели и лефы всех стран, связь которых с нами – это связь разных отрядов одной и той же армии – атакующей старье, разные отряды одного революционного рабочего человечества.

[1927]

НЕМНОГО О ЧЕХЕ

Сейчас я проехал Польшей, Чехословакией, Германией, Францией. Богатые этих стран чрезвычайно различны: поляк – худ, щеголеват, старается притвориться парижанином; немец – толст и безвкусен; чех – смахивает на нашего спеца; француз – скромен и прост, ни по костюму, ни по объему его живота не узнаешь о количестве его франков.

Вид работающего пролетария одинаков: одни и те же синие блузы и на чешском металлисте, и на железнодорожнике Бельгии, и на водниках Эльбы. В Льеже отправлялся куда-то вагон дорожных рабочих, и они с энтузиазмом свистели нашему курьерскому поезду. На одном из маленьких канальчиков я видел даже совсем репинскую картину: две бабы тащили лямками небольшую баржу – своеобразные бурлачки. Крестьянку Польши под микроскопом не отличишь от белорусских баб. Я видел их работающими и на польской части Белоруссии и на советской. Только проволочные заграждения границы отделяют их.

В Праге я пошел на один из огромнейших заводов в Средней Европе – акционерное общество чешско-моравска – «Кольбен». Это две группы заводов – электрические и механические. Строят паровозы, автомобили («Прага»), прожекторы для румынской армии и т. д.

Хожу по механическим. Рабочих человек восемьсот. Нагрузка слабая, – им пока не надо паровозов. Ремонтируются мелкие военные тракторы, перевозившие пушки, теперь продаваемые крестьянам. Бока тракторов еще пестрят военной маскировкой. В полную нагрузку работают только автомобильные мастерские. Вырабатывают тысячи три машин. Это, конечно, не Форд. Работают с прохладцей. Места – хоть завались.

– Вот этот рабочий, – указывает с гордостью инженер на старика, – только что у меня автомобиль купил. Дочке в Румынию в приданое посылает.

– Сколько же у вас зарабатывают?

– О, до семидесяти крон в день, – говорит инженер – (рубля 4).

Переспрашиваю другого, незаинтересованного, спутника.

– Ну, крон до сорока.

Большая разница.

Из-за этого автомобильчика старик служил на заводе 37 лет!

Часовой обеденный перерыв.

Подвозят на низких площадках «горки парки» – «горячие пары» (сосиски) и пиво.

– А столовой у них нет?

– Есть. Только они сами туда ходить не любят.

Когда я вышел – напротив на заборчике обедали двое рабочих: помоложе и постарше, отец и сын, должно быть. Девочка, лет 8–9, принесла им обед в чистых двухэтажных судках. Странная столовая.

– Всегда у вас такая идиллия?

– Да, у нас тихо, – коммунистов на завод не принимаем.

– А если окажется?

– Надолго не окажется. Здесь выходного пособия не платят.

– А если машиной искалечат, если станет инвалидом?

– Судиться будет – ничего не получит. Без суда выдаем уменьшенное пособие. Иногда выдаем до двух лет.

– А потом?

– Потом его дело.

Шедший с нами врач рассказывает:

– К нам в больницу привезли рабочего. Рана. Спрашиваю: кто ранил? Что вы! Товарищ ранил. В драке? Из ревности? Нет, – по просьбе. Как по просьбе? Я – безработный. Я хотел пожить в больнице и подкормиться.

Чехословакия одна из самых демократических, свободных политически стран. Здесь легальная компартия. Одна из сильнейших в Европе. Коммунистическая газета «Рудэ право» имеет около 15 000 тиража. Правда, здесь полная свобода и белым. Недаром – это центр российской эмиграции. В славянском кабачке сиживает и сам Чернов.

К вечеру рабочий наряжается в чистое платье. Он сберегает 10 крон, чтобы пойти на свой бал. Там представление, там и фокстрот. На последнем коммунистическом балу в марте, в огромном помещении «Люцерна», было около 4000 человек.

На сцене синеблузники. Вот, например, сцена «Слезы Крамаржа». Чешский «твердолобый» Крамарж плачет над дачей, отнятой большевиками у него в Крыму.

Впрочем, синеблузник – это название. Синие блузы носить запрещают. Подвели под какой-то старый закон о запрещении носить «форму» и однажды задержали на улице синеблузников, отвели их в участок, сняли рубашки и домой отпустили голыми.

С Крамаржем такого не случалось. Ему в Чехословакии значительно свободнее.

Прага

[1927]

ЧЕШСКИЙ ПИОНЕР
Когда я ехал за границу, знакомые пионеры наказали мне:

– Езжай-то ты езжай, товарищ Маяковский, но когда приедешь, все про ихних пионеров расскажи.

Поехал я сначала в Чехословакию. Приехал в столицу, в Прагу, и сейчас же у товарищей спрашиваю:

– Покажите мне, где у вас тут пионеры.

Товарищи отвечают:

– Их и искать не надо, они сами вечером на вашу лекцию придут.

Вечером я читал в народном доме лекцию и свои стихи. Народу пришло много – больше тысячи. Между взрослыми – и детей пионерского возраста достаточное количество.

Читаю я стихи и все время зал оглядываю: дети есть, а пионеров не видно. Ни единого красного галстучка. После лекции подходит товарищ с двумя ребятишками, я на него накидываюсь:

– Где же твои пионеры?

Двое ребят ответило разом:

– Мы и есть пионеры…

– А галстуки где ж?

Один порылся и достал из кармана скомканный красный галстук.

– Вот он. Дома надеваем. А как выйдем из дому – в карман. А то полиция отбирает, – и нам и галстуку достается. Один раз пошли мы с братом в рабочий театр. Брат у меня в «Синей блузе» играет. Ставили пьесу «Плач Крамаржа». Крамарж этот раньше русским буржуем был. Большевики у него в Крыму дачи отобрали и на дачах санатории да дома отдыха устроили. Крамарж обиделся, уехал в Прагу, свою партию фашистов собрал – ругает теперь советскую республику на чем свет стоит, агитирует здесь, чтобы большевиков не признавали, да о потерянных дачах с женой по вечерам плачет.

Наши комсомольцы-синеблузники его и передразнивали. Все хохочут, – только сыщикам неприятно. Возвращаемся после спектакля; я в галстуке, брат в блузе. Вдруг откуда ни возьмись полицейский. – Пожалте, говорит, в участок. – В участке какой-то усач спрашивает: – Что вы за люди и почему в форме ходите? – А мы ему в ответ: – Мы коммунисты, у нас страна свободная. Как хотим, так и ходим.

Усач рассвирепел и говорит: – Коммунизмом вы можете вполне свободно дома заниматься, а на улицах мы пока начальники. Снимайте форму.

Мы было начали возражать, но на нас трое накинулись очень вежливо, но и очень настойчиво. Не отобьешься. Один галстук сдернул, а двое с брата блузу стянули. Так мы и домой пошли. Мне еще ничего, а брат в одной спортивной фуфайке две версты сквозь город рысью протрусил.

– Ничего, – говорю им, – приезжайте в Москву, там до отвала нахóдитесь.

Но дети справедливо возразили:

– Про Москву мы знаем, но мы и в Праге московской свободы добьемся. Страна наша в десять раз меньше вашей, а у нас уже две тысячи пионеров, да в секции Красного

Спортинтерна 30 000 детей. Мы среди них работаем. Кто поймет, что такое пионер, тот к нам переходит. Много у нас коммунистов вырастет.

При отъезде из Праги просили меня советских пионеров приветствовать, журнал свой дали, «Kohoutek» — «Петушок» называется.

[1927]

НАРУЖНОСТЬ ВАРШАВЫ

Глаза трудящихся Советского Союза с особым вниманием останавливаются сейчас на Польше. К сожалению, о Польше пишется мало. Во-первых, потому что в Польшу труден доступ советскому писателю. Во-вторых, Польша лежит на полдороге к большим странам, и ее переезжают не задерживаясь.

Поэтому считаю не лишним передать вам некоторые впечатления моего десятидневного пребывания в Варшаве.

Столбцы. Пограничный пункт. То, что называется «шикарное» здание! Белое, как будто с золотом. Как отличается эта станция от наших грязных станциишек! Думаю: если так пойдет и дальше — Польша действительно разбогатела и расправилась. Ничего подобного. Станция — это только пыль в глаза. За этой станцией до самой Варшавы нищий белорусский пейзаж, ничем не отличающийся от беднейших местечек нашего Союза.

Только подъезжая к Варшаве, задолго до нее видишь дым фабричных предместий. Кажется, что поезд долго разгоняется, чтобы влететь в огромный клокочущий город. Однако поезд останавливается у одного из таких предместных зданий. Это — центр. Это — вокзал. Разгон остается разгоном.

Одни поляки называют Варшаву маленьким Парижем. Во всяком случае, это очень маленький Париж. Варшава на Париж похожа так, как киоск Моссельпрома на Сухареву башню. Если парижские бульвары залиты движущимися огнями, то здесь две-три полувертящиеся вывески. Если Париж кишит наряднейшими модницами и модниками, то здесь десяток-другой пижонов кокетничает вышедшими на пенсию модами.

Другие поляки говорят, что Варшава — Москва. Ну, это уже просто ошибка. Москвичи этого никогда не скажут.

Варшава за последний десяток лет строилась мало. Новый парк и пара-другая домов, приглянувшихся мне, были, оказывается, разведены и построены немцами во время оккупации Варшавы. За последнее время строились только безделушки, вроде воинственного сооружения вокруг «неизвестного солдата» да нелепейшего памятника Шопену, подаренного Польше каким-то средних способностей французским скульптором.

Магазины завалены товарами. Еще бы не завалиться! Лодзинский товар потерял российский рынок, а на западном рынке он не может выдержать ни английской, ни немецкой, ни итальянской конкуренции. Внутри страны потребитель тоже не ахти какой. При страшно низкой заработной плате и при огромном количестве безработных не раскупишься. Впрочем, и завал этот какой-то показной. Я с товарищем бродил по магазинам в поисках пальто. И везде один и тот же ответ: «Нет таких больших, которые нужны большому пану, и нет таких маленьких, которые нужны пану маленькому».

Варшава чрезвычайно широко раскинута. Чуть не в час автомобильной езды мы с трудом добираемся до рабочей окраины.

Если центр города чист и все же кое-как поблескивает и зданиями и прохожими, то здесь грязь, покосившиеся низенькие домишки и оборванная польская и еще больше ободранная еврейская беднота.

Здесь небезопасно появляться в «буржуазном» автомобиле. Здесь за рукава затаскивают в магазин тряпья купить тройку, здесь торгуются из-за каждой картофелины. Зато и отношение здесь к советскому, к «русскому» — иное.

Единственно что общё всем кварталам, всем улицам и дорогам и всей Польше — это несметное количество военных.

Откроешь глаза – сплошное козыряние. Закроешь глаза – сплошной звон шпор. Другие страны, например, только что проеханная Чехословакия, как-то стыдятся военщины, обряжая своих чинов по возможности в штатскую одежду.

Военщина Польши назойлива и криклива. Расширяющиеся вверху, изукрашенные позументами шапки, перья, вздымающиеся и свисающие, штаны с диким выпуском, и целая разукрашенная елка – это грудь в орденах.

На обратном пути мы стояли 5 минут на какой-то станции. Станция, очевидно, не застроилась с самой войны. У вокзала всего одна стена, и на ней утвержден колокол. Позади стены, как-то сбоку, ютились временные «багажная» и «телеграф». Но на фоне этой одной стены все же стояло каких-то четыре разноцветных жандарма.

Граница.

Я видел множество границ. Вернее, не видел: проезжал, не замечая, где кончается одна страна и где начинается другая.

Польскую границу не заметить нельзя – она вся во множестве рядов перевита колючей проволокой.

Но, очевидно, и этого мало.

Еще и еще лежат огромные катушки, ощерившиеся колючками.

Наматывай, сколько влезет…

В кого?

[1927]

ПОВЕРХ ВАРШАВЫ

Первое литературное впечатление на польской территории. Таможенный осмотр. Все книги отбирают. Я обращаюсь к какому-то высшему полицейскому таможенному чину.

– Прошу вернуть мне книги. Тем более что только мои сочинения…

Чин любезен и радостен.

– Вы сами написали? Значит, вы сами писатель?

Киваю скромно и утвердительно. Чин вежливо возвращает книги обратно. Вчитывается в мою фамилию.

– Маяковский… Такого не знаю. А вы Малашкина знаете? Он старый или молодой? Я прочел его книгу «Луна с правой стороны». Очень, чрезвычайно интересная книга… Он у вас тоже известный?

Очевидно, отбираемые книги не пропадают зря. Наскоро выложив общие знания о Малашкине, сажусь в варшавский поезд.

Какая-то станция, кажется, Барановичи. Поезд стоит минут 10. Подхожу к киоску за русскими эмигрантскими сочинениями. У киоска остолбеневаю. Лежит «Нива». «Нива» самая настоящая: буквы в цветочках, слева – семейства, читающие «Ниву», справа – амурчики, «Ниву» поливающие из лейки. Издание – Рига. Год – 27-й. И даже дань временам: «Нива» называется «новой». Расчет, думаю, простой. «Нивой» или «Миром» назвать обязательно – «привычка свыше нам дана»; с другой стороны, московскую «Ниву» уже обозвали «красной», а московский «Мир» почему-то назван не божьим, а «новым», поэтому и осталась «Новая нива».

Возмущенный, раскрываю журнал. Еще б не возмущаться – какая наглая подделка! Читаю. Никакая не подделка. На первой странице Ахматова. Потом Зозуля – «Путешествие по Корсике», масса зощенок, и все в этом роде со слабой примесью собственных советоедов – рижан.

Я в раздумье.

Одно из двух. Или великое искусство действительно внеклассовое и покоряет одинаково и эсэсэсэрцев и рижан (тогда плохо для марксизма), или выпестованные нашими «Нивами» и «Мирами» писатели одинаково приемлемы и для советского обывателя и для оберегаемого от коммунизма рижского (тогда плоховато писателям).

Небось лефовцев в такой компании не найдете. Уж если и перепечатает газета стих, то обязательно хвост от себя приделает, да еще в комментариях покроет.

Не об этом ли верещал Полонский, говоря о нашей неприемлемости для заграниц?

Черт с ней, с такой приемлемостью!

Политические выводы из этого делать не к чему, но литературные — обязательно. А именно: погоня за темами, общими для всех человеков, это — погоня за огромным косным обывательским рынком; борьба этих тысяч писателей и критиков против агитки, против политики в искусстве — это борьба обывательского большинства против горсточки революционных писателей, против писания о революции и против нее самой.

Литература СССР — только участок на огромном фронте борьбы мира за освобождение; наши слова закатываются за кордоны — и там это не шаблонные агитки, а чудо свободного слова, организующего или еще более сплачивающего левые отряды для грядущей борьбы.

Товарищи писатели! На революцию ориентируйтесь, а не на примирительное сюсюканье Лежневых.

Варшава. (За поездку я побывал в Варшаве два раза: день — направляясь в Прагу, и десять дней — на обратном пути; объединяю в одно оба впечатления.) Я приехал в Варшаву по приглашению «Блока» (левая писательская организация) и «Пен-клуба» («Клуб пера», имеющий разветвления по всей Европе, объединяющий маститых, положительных и признанных). На вокзале меня встретили и приветствовали чиновник министерства иностранных дел, друг Вандурский, и еще несколько писателей «Блока». «Пен-клуб», очевидно, убоявшись своего революционного приглашения, встречать не пришел, а, кажется, сидел в это время и надрывался в дебатах, что же ему теперь собственно говоря со мной делать. Вызвали духа, да еще какого революционного!

Чиновника тоже опровергли через дня три. Опровергли уже после того, как в официальной «Эпохе» его присутствие уже было распубликовано. Опровергли потому, что мой приезд совпал с отказом в визе путешествующему с лекциями Милюкову. И в газетах стали появляться грозные статьи: «Вместо Милюкова — Маяковский»; «Милюкову — нельзя, Маяковскому — можно», и т. д. и т. д.

Случай, конечно, юмористический.

В первый вечер я, конечно, встретился с самыми близкими нам и мне писателями. Это — Вандурский — прекрасный поэт и работник рабочего театра. На триста тысяч лодзинских пролетариев он один организовывает и ставит спектакли. Перед спектаклем он читает пролог из «Мистерии-буфф», потом — пьеса или инсценировка, от которой морщится польское начальство. У него отбирают помещения, у него уничтожают декорации, над ним висят аресты, но он твердо ведет свою работу.

Поэт Броневский. Выпустил только что книгу стихов. Названия его стихов говорят за себя: «На смерть революционера», «Пионерам», «Кабала» и т. д.

У него есть стихи «Провокатор» — это о жизни сегодняшней Польши. Он читал эти стихи в рабочем собрании. Когда он произнес строку: «Провокаторы ходят меж нами», какие-то субъекты испуганно поднялись и начали улепетывать из зала, на ходу разъясняя, что они-де не по своей воле. Это стихотворение хорошо рисует и Польшу, и Броневского, и рабочий быт.

Критик Ставер — близкий нашим конструктивистам.

Щука — художник-карикатурист; Жарновер — художница, график, обложечница, и другие.

Эта группа издает журнал «Дзвигня» – рычаг.

Мне дарят 1, 2 и 3 номера. Раскрываю. Первое бросается в глаза: «Родченко в Париже» – перевод на польский язык помещенных в «Лефе» писем. Перевели и напечатали и за границей, и не только без всякого влияния, а, наоборот, с трудом доставая «Леф» вопреки Полонским улюлюканьям и статьям, ограждающим иностранный вкус от экспорта неэстетичных лефов к иностранцам.

Полонский, не хватайтесь за голову!

В Польше есть и люди диаметрально противоположные вам политически, но вашего эстетического вкуса.

Они гонят молодежь в Лувр, они радуются, когда Варшаву называют маленьким Парижем, они заводят у себя «неизвестного солдата», они говорят по-французски и читают французские романчики, – это позиция польских литературных государственников. Но ведь им за это Франция взаймы дает! Ведь им молодежь от Москвы отвадить надо!

И вот, в противовес этим, переводят родченковские письма, дискредитирующие богатый древней культурой, но остановившийся Париж, зовущие использовать его технику, направляя ее коммунистической рукой.

Эти письма переиздаются не «Новой нивой», а левым журналом, потому что позиция «Лефа» – позиция всякой культурно-революционной силы.

Утром я перешел из крохотного номерка в номер за 19 злотых – для представительства. Было от чего. Я начал атаковываться корреспондентами, и карикатуристами, и фотографами. Понятно. Я – первый поэт, приехавший из красной Москвы. Должен для беспристрастия отметить крайне корректный, предупредительный тон польской прессы. Неистовствовала только эмигрантская «За свободу», трубившая о въезде советского.

Интересным посетителем был председатель «Клуба» г-н Гетель. Этот, очевидно, умный и приятный человек взял сразу быка за рога и спрашивал меня по наиболее интересующим «пенов» статьям. А именно – сколько у нас платят, как мы застрахованы и что сделать, чтобы у нас оплачивались польские переводы.

Моя информация о результатах работы комиссии Совнаркома по улучшению писательского положения произвела на моего собеседника большее впечатление, чем сто агитаторов и целый коммунистический «университет».

Мои слова о приравнении писателя к трудящимся вызвали у Гетеля уныло-удивленную улыбку.

– А я и в профессиональный союз не записан – не к чему это нам. Как он меня защищать будет?

Г-н Гетель увел меня на парадный завтрак, данный в честь «вызванного духа». «Пен-клуб» вышел из неловкого положения, – он пригласил на завтрак только шесть человек – правление, да и то неполное. Этим завтраком с небольшими разговорами об авторском праве и закончилась моя встреча с официальными представителями польской литературы. Мы позавтракали и разошлись, «не причинив друг другу никакого вреда» (пользы – также).

Вечером – новый банкет широкого левого объединения.

Первым я увидел вдохновенно глядящего, поэтически трясущего руку поэта и переводчика моего «Облака в штанах» «Облак в споднях» – Тувима. Белые газеты писали, будто я, получив перевод, сказал: «Наплевать мне на польскую литературу». Я немедленно опроверг чепуху. Пришел другой писатель и переводчик – Слонимский. Он перевел «Левый марш» и для уравновешения своих взглядов написал еще и свой марш. У меня: «левой, левой, левой», у него: «вверх, вверх, вверх», – этакий польский Шенгели.

Я похвалил перевод «Левого».

Слонимский спросил опасливо о «вверх».

– За «вверх» пускай вас в Польше хвалят.

Полеты Слонимского «вверх» кончились катастрофой.

В дни моего пребывания в Варшаве была поставлена его пьеса, не то «Вавилонская башня», не то «Геркулесовы столбы» – словом, из такого самого полета вверх.

На втором представлении театр был пуст.

Я виноват перед читателем за постоянные упоминания обедов! Но что поделаешь! Такова судьба официальных, полуофициальных и представительских поездок (моя, конечно, представительская). У меня был еще один грустный обед. Это – с моим переводчиком, уже упомянутым мною Тувимом.

Многие считают Тувима одним из самых лучших поэтов молодой Польши. Не зная языка – судить не берусь. Он переводил меня, очевидно, не из-за заработка. Какой заработок от книги в Польше, да еще от переводной, да еще с перевода одного из поэтов революции! Отношение его к моим стихам, очевидно, лирическое, и он решил, очевидно, посидеть час за обедом со своим собственным приятным воспоминанием. Он не ругал ни Польши, ни своего писательского положения, даже чуть похваливал своих перед иностранцем. Но именно в этом внезапно напущенном на себя, ни с чем остальным не гармонирующем свободословии было больше всего мотивов для жалости.

Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, – какие тут «облаки»! Даже такие смирные, мифически потусторонние писатели, как одна из слав Польши – Пшибышевский, влачат жалковатое существование. Правительственная субсидия какому-нибудь «маститому» злотых 800 в месяц (рублей 180) уже вызывает писательскую зависть.

Что же делать Тувимам? Тувимы пишут тексты для певиц и певцов варьете.

(Глупые скажут: «А сам про Моссельпром писал?» – Я про Моссельпромы хочу писать потому, что нужно. А ему для варьете и не нужно и не хочется.) И варьете прекрасно, если писать хоть немного «что хочешь».

Какое тут «хочешь», если такую польскую славу, как Жеромский, и то перед смертью вызывали в дефензиву с недоуменнейшим вопросом – как это ему в голову пришло написать такую революционную вещь? И Жеромский шел!

Правда – можно писать и против того, что видишь. Но тогда кто тебя будет печатать?

А если тебя отпечатает нелегально нелегальная коммунистическая партия – готов ли ты садиться в цитадель на четыре, на шесть, на восемь лет?

А кто сейчас в силах идти на этот героизм, кроме человека, принадлежащего к классу, верящему в победу коммунизма?

Но можно писать просто книжечки, – такие, чтобы и вашим и нашим.

Такие еще труднее.

Кроме горизонтального разреза на классы, встретишься еще и с вертикальным – нации. Это при обязательном польском языке! Это значит, из тридцати миллионов населения восемь миллионов украинцев не прикоснутся к твоей книге. А если ты еще и еврей и пишешь на польском – разве евреи будут тебя читать?

А Тувиму надо и некоторой бури и некоторого оживления, как у футуристов, как у лефов.

Найди и оживись, когда тебе приходится имитировать крупную литературную работу чтением выхолощенных стихов, разъезжая из столицы Варшавы в провинцию Вильно!

Что за провинция и какая столица?

Когда я ехал из Негорелого в Столбцы, я сразу отличил границу и то, что она

польская, по многим и солидно закрученным колючим проволокам. Те, которые еще не успели накрутить, лежали тут же, намотанные на длинные, кажется, железные катушки.

Здание станции Столбцы, и чистое видом и белое цветом, сразу дало и Европу и Польшу.

Вот это забота, вот это стройка!

Но сейчас же за Столбцами пошла опять рухлядина – длинные-длинные перегоны без жилья и крестьян и косые хаты.

А разоренья и запустенья, пожалуй, и больше.

Видал я на полпути станцию – большая, очевидно. Поезд держала минут пять. Станция странная: только передняя стена, которую не имели в виду ремонтировать, сквозь выбитые окна виднелись земля, небо-потолок, трава-пол. На стене висел колокольчик. Только к одной трети стены были прилеплены телеграф и багажное. Перед этой стеной стояли четыре жандарма. Непонятная архитектура!

Правильнее было бы делать станции из четырех стен и с одним жандармом.

Редкие станции еще и малолюдны. Поезда пусты. В норд-экспрессе, мчащемся из Берлина в Варшаву, на 7 вагонов было человек пятьдесят. В простейшем поезде из Варшавы в Негорелое на девять вагонов ехало (не преуменьшаю) человек семь. Рядом с нашим вагоном тащился один совершенно пустой мягкий, один совершенно пустой жесткий и рядом – жесткий вагон всего с одним пассажиром. Правда, это – уже подъезжая к границе; вероятно, это редкость, но даже и для редкости пассажиров все-таки мало.

Когда подъезжаешь к Варшаве, кажется, что подъезжаешь к огромному городу. Кажется – потому что долго идет пригород, подготавливают крепость и цитадель, заставляет всматриваться растущий разгон предместья, и только когда прибываешь на станцию Варшава – оказывается, что и пригород и предместье – они и есть уже столица.

Странное ощущение – разбег без прыжка.

Временный деревянный барак вокзала еще больше увеличивает недоуменье.

При выходе на улицу две-три не то чтобы вертящиеся, а так, подпрыгивающие рекламы – смешат желанием походить на Европу.

Мысль о бедности провожает вас по улицам. Средний уровень одежи скорей приближается к московскому, чем, например, к берлинскому виду.

Обилие извозчиков. Такси, введенные недавно, еще не очень привились.

Магазины полны – но тоже какой-то провинциальной полнотой. Есть все – кроме того, что вам нужно.

Ни одно здание, ни одна стройка (кроме разве старых домов старого города) не останавливает вас. Бельведер, насколько позволяет поле зрения, так – загончик, гостиницы – средненькие, жилья – ординарные.

Лучшим местом мне показалась огромная площадь, оставшаяся после срытия православного собора (первая часть безбожной программы выполнена – остается срыть только католические); на этой площади памятник Понятовскому. Понятовский на лошади, без штанов, тычет мечом в сторону Украины. Памятник этот не совсем плох уже одним тем, что памятник Шопену много хуже.

Шопен – это какая-то скрюченная фигура, а рядом – больше фигуры – не то разбрызганные валы, не то раскоряченные коряги.

Спрашивают: «Что это у него рядом?»

Говорят: «Хаос».

Если рядом с человеком такое находится – это, действительно, большой беспорядок, но лепить это и ставить в саду – совершенно нелепо.

Постановка памятника оправдывается тем, что его, кажется, француз Польше подарил.

Говорят, сейчас гордая Польша собирает деньги, чтобы отправить их скульптору в награду, так как Польша не хочет пользоваться даровым.

Впрочем, злые люди утверждают, что французы уже раньше собрали деньги, только чтобы этот памятник был вывезен из Парижа.

Шумно только на главных улицах. Боковые пусты и молчаливы. Впрочем, последние дни, в связи с варшавскими городскими выборами, стало шумней и оживленней.

Поволки и легковые извозцы изукрашены плакатами и лозунгами.

Из разных окон раскидывается мелкий снег предвыборных летучек, иногда сплошь белящий и тротуары и мостовые.

Потом по тротуарам пошли намалеванные черной краской номера выборных списков. Краска паршивая и моментально стиралась шаркающими.

По стенам и заборам выклеены антибольшевистские плакаты: конечно – латыши, конечно – зверского вида, конечно – расстреливают каких-то людей честного и страдающего вида.

У польского правительства есть более верное средство предвыборной борьбы. Оно просто аннулировало коммунистический список № 10 по каким-то формальным основаниям.

Пепеэсовцы немедленно выпустили протестующую прокламацию, где обвинялись сами коммунисты. Они, дескать, против демократии, поэтому с ними-де так недемократически и поступают.

После этого изъятия уже выборы ничем не омрачились и пошли по всем правилам политических опереток.

Ездят, поют, разговаривают, кричат, свистят, аплодируют и часам к двенадцати расходятся, как из театра. Только на окраинах битые и раненые, – это если в предвыборную полемику вступают защитники аннулированного списка.

Последние дни особенно лезло в глаза предвыборное. Я переселился в пустующую до приезда курьеров дипкурьерскую комнату полпредства. Полпредство помещено удачно. Справа – полиция, в центре – полпредство, налево – монархический клуб. Часам к 8, к 9 вечера нас подымал со стульев дикий шум у самых полпредских дверей. Под окнами скакали десятки полицейских.

Каждый раз шумиха оказывалась пустяком.

Это с балкона клуба орали речи и распевали песни монархисты, собирая небольшую толпочку.

Немедленно появлялись на грузовике пепеэсовцы и старались их перекрыть пением Интернационала (!!!). Видимость получалась страшно революционная. Попев и сорвав десяток-другой монархических афиш, пепеэсовцы удалялись.

Тогда снова вылезали монархисты с лестницами и возможно выше наклеивали новые листы. Из парикмахерской (под клубом на Познанской) выбегает мастер, подталкиваемый пепеэсовским долгом, влазит по трубе и срывает наклейку.

Опять выбегает монархист…

Опять, ругаясь, вылазит пепеэсовец…

Сказка про белого бычка!

Но даже этот невеселый спектакль веселее скучных спектаклей в театрах.

Головатое ревю с постоянным восторженным припевом «Варшава, Варшава», с непременным превознесением ее парижских качеств, Вертинский на польском языке. В кино — «Медвежья свадьба» с знаменитой «польской» артисткой Малиновской, «Дворец и крепость» с переделанным под польский вкус концом — опять-таки с большевистским зверством, и, конечно, всякое американское приключенчество и французская сентиментальность.

Я убежден, что серьезный читатель знает Польшу лучше и глубже, чем я. Считал все-таки полезным записать мое поверхностное впечатление, так как, несмотря на близость Польши, наши проезжие редко в ней останавливаются, и, очевидно, редко это можно делать.

Выводы частные.

Для нас, не только авторов книг, но и организаторов литературы для общей пролетарской борьбы, литераторы Польши (да и других объезженных мною стран — Чехословакии, Франции, Германии) делятся на три группы. Те, кто избраны своим господином — классом, и не оборачиваются на имя СССР, а всячески помогают своим правительствам травить нас и оклеветывать. Другая группа — полупризнанные, полуопределившиеся — измеряет свое отношение к нам шансами на литературную конвенцию и возможность получать за переводы. Третьи — рабочие писатели и лефы (левая, срастающаяся с борьбой пролетариата часть европейской интеллигенции, «Ставба» — чехословацкая, «Дзвигня» — Польша, «Четыре ветра» — Литва, «Зенит» — югославская и др.). Третьи — это единственные отряды на Западе, подымающиеся на последнюю борьбу пролетариата.

Выводы общие.

Польша развивалась как крупная промышленная часть бывшей России. Промышленность осталась — рынков нет.

На Запад с лодзинским товаром не сунешься — на Западе дешевле и лучше. Западу нужна Польша как корова дойная, Польша земледельческая.

У многих поляков уже яснеет ответ на вопрос — быть ли советской республикой в союзе других советских или гонористой демократической колонией…

[1927]

МЕЛКИЙ НЭП
(Московские наброски)

Крупный нэп все еще раскачивается: приглядываются и примеряются концессионеры, торгуются из-за аренд и налогов отечественные титы.

Средний нэп постепенно оседает, ворча и кряхтя; задымились фабрички в 40–50 человек, ремонтируются и устанавливаются всякой вещью магазины.

Зато мелкий, доходящий до карикатурности нэпик швейной шпулькой снует по каждой уличке, по каждому переулочку.

Если крупное предприятие может важно и лениво распоряжаться, только в конце года с грустью замечая убыток, то у этих каждый убыточный день живо отражается на желудке. Отсюда — сногсшибательная изворотливость, поучительная рекламность, виртуознейшая сообразительность. Это ерунда, капли, но в них отражается целая улица, весь город.

Вот, например, своеобразная «торговля».

Есть у меня знакомый К. Меня всегда удивляли его необъяснимые маленькие, но регулярные доходы. Часов в двенадцать он отправляется работать, часа в четыре возвращается, неся 100–200 «лимонов». Он не алчный. Заработает свое и усаживается за чтение и пописывание.

После долгих упрашиваний он открыл секрет.

Дело простое.

С утра он начинает обходить книжные магазины.

– Почем такая-то книга?

– Миллион.

Идет в магазин напротив.

– Есть такая-то книга?

– Нет.

– Угодно по два лимона?

– Тащите десяток.

Идет в первый магазин, берет книгу, – десятка и заработана.

Я думаю, многие тресты, усеянные посредниками, узнают себя в этой карикатуре. Если через улицу зарабатывают десятки, то через город берут тысячи.

А вот пример блестящей рекламы.

Папиросник орет:

– А вот спички Лапшина, горят как солнце и луна. Менее бойкий мальчишка рядом старается скромно всучить свой товар, но рекламист перешибает покупателя:

– Не берите у этого! Пять минут вонь – потом огонь.

Рекламист побеждает.

На другом углу бойкий тенор расхваливает бритвы «жилет»:

А вот «жилет».
Брейся сто лет.
Еще останется внукам.
Подходи – ну-ка!
Дальше торговец механическими, самопришивающимися пуговицами:

Если некому пришивать –
Для этого не стоит жениться.
Если жена не пришивает –
Из-за этого не стоит разводиться.
3 рубля дюжина. Пожалте!
Хочешь не хочешь – купишь. До сих пор передо мной в коробке на столе три дюжины валяются. Опять таки:

Учись на мелочах.

[1923]

О МЕЛОЧАХ
В речах Ильича постоянно бывают указания на «веревочки», на веревочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся. <…>

Эти мелочи, незаметные на первый взгляд, пустяковые по своему личному значению, – в общем отымают огромный запас сил и энергии, запас, которого бы хватило и на большие дела.

При поездке по Европе бросается в глаза это внимание к пустяку.

Например, маленький вопрос – о номерации домов. У нас стоишь перед № 10 и думаешь с тоской: справа длинный забор, слева огромный пустырь, где же, чорт бы его побрал, № 12? Идешь наугад налево, тратишь минут пять и натыкаешься на № 8 – обратно идешь еще минут десять!

А в Берлине под каждым номером — еще стрелка, указывающая направление номерации. Тут зря не пойдешь — каждая минута на счету.

Ввести б это у нас — сколько времени отчислится городу в год!

Еще мелочь:

На каждой стройке имеются прекрасные леса.

Стройка кончена, леса снимаются и идут или на топку, или на какие-нибудь посторонние изделия.

В Берлине все леса сборные. На каждой вертикальной балке — множество отверстий, чтоб можно было на разной высоте в зависимости от размеров дома укреплять стропила.

При таких условиях и леса можно делать основательнее и комфортабельнее.

Стройка окончена, леса разбираются и переносятся на новую стройку.

Может быть даже контора «Даю на прокат лесá!»

Таких примеров — огромное количество.

Маленькое усовершенствование — бережет огромное время.

Внимание мелочи!

[1923]

АМЕРИКА В БАКУ

Баку я видел три раза.

Первый — восемнадцать лет назад. Издали.

За Тифлисом начались странные вещи: песок — сначала простой, потом пустынный, без всякой земли, и наконец — жирный, черный. За пустыней — море, белой солью вылизывающее берег. По каемке берега бурые, на ходу вырывающие безлистый куст верблюды Ночью начались дикие строения — будто вынуты черные колодезные дыры и наскоро обиты доской. Строения обложили весь горизонт, выбегали навстречу, взбирались на горы, отходили вглубь и толпились тысячами. Когда подъехали ближе, у вышек выросли огромные черные космы, ветер за эти космы выдрал из колодцев огонь, от огня шарахнулись тени и стали качать фантастический вышечный город. Горело в трех местах. Даже на час загнув от Баку к Дербенту, видели зарево.

Промысла горели всегда.

Второй раз я видел Баку в 13-м.

Несколько часов — от лекции до поезда. Меня повели смотреть город; Каспийское море, сажают бульвар, театр Маилова, Девичья башня, парапет.

— Нельзя ли на промысла? — заикнулся я.

— Бросьте! — отвечали мне. — Чего же там смотреть! Черный, грязный город. Промысла тоже — грязь да нефть. Вот разве что ночью — когда фонтаны горят…

Сейчас первый же встречный спросил:

— Вы видали промысла?

Второй:

— Вы уже были в Черном городе?

— Как вам нравится Разинский поселок?

– Вот побывайте на заводе Шмидта…

– Посмотрите ленинские…

И т. д., и т. д.

Весь интерес города вертится вокруг промыслов. Не только интерес добычи и прибыли, а весь интерес внимания, культуры, подъема.

Черный город.

Сейчас уже название «Черный» стареет.

Сносятся мелкие отсталые заводики раньше конкурировавших фирм, и вся строительная энергия бросается на расширение, укрепление больших, по последнему слову оборудованных заводов вроде бывшего Нобеля. Железный и стальной лом свозится на фабрику Шмидта, и снова пойдут в работу раньше негодные миллионы пудов. Вместо отечественных лачуг с паршивым «дымом отечества» выводятся и растут рабочие поселки, с домами в террасах, с электричеством, на газе. В Разинском, в Романинском и Балаханском поселках уже исчезли чернота и дым.

И Черный и белеющий город, – конечно, не случайность и не благотворительность. Это – отражение, это – продолжение способов добычи нефти.

В изумлении хожу по промыслам.

Вот старая желонная вышка. Прабабка грязи и копоти черного поселка.

К ней не то что не подойти в галошах, к ней в лодке не подплывешь.

Высоченная обитая дверка для подъема и спуска желонки (желонка – длинная труба-ведро и на 6 и на 8 пудов нефти). Чтоб выволочь ее из скважины, тарахтит машина вроде пароходной лебедки, и 4–8 человек возятся вокруг всей этой ахинеи, опускают желонку, потом человек на верхушке смотрит, чтоб ее вздернули на нужную высоту; двое, раскачивая, подводят ее на нефтяной бак, и она выплевывает густую грязную жидкость и в бак, и в лицо, и на одежду, и в окрестности. С перерывами течет по открытым желобам в ожидании окурка незащищенная нефть.

Разве раньше можно было привести этот мрак в порядок? 200 хозяев и хозяйчиков конкурировали, дрались и расхищали нефть на этом маленьком клочке земли.

Расхищали, потому что рвачески выбиралась нефть, заливались водой из экономии неукрепленные скважины.

Высшее счастье – фонтан. Полмиллиона пудов нефти выкинет он в день – это 200–300 золотых тысяч Манташевым, Тамамшевым, Нобелям. И если у одного забил фонтан, сосед лихорадочно начинает рыть рядом, тут не до американизации добычи, тут не до укрепления. Фонтан надрывался, дав полмиллиона пудов в день и иссякнув, тогда как в правильные месяцы он дал бы миллионы пудов. Экономия? Экономия? Экономия на удобствах, на рабочих жилищах.

Снимайте галоши, выпустите кончики белого платочка и в кремовых (если хотите) брюках шагайте на сегодняшние промысла.

Низенькое игрушечное здание – просто комната с красной крышей. На высоте аршина от земли щель, из щели длинные железные тонкие лапы, дергающие рычаг глубокого насоса, без остановок выкачивающие нефть в глухие трубы, из труб – в крытый бак. А под крышей мотор сил в 60 (а раньше 90 сил на одно тартание) вертит групповой прибор, сосущий сразу нефть из двадцати скважин. По вылизанному полу ходит всего один человек, да и тот может выйти без ущерба хоть на два часа. До революции попробовали глубокие насосы и бросили – слишком долгий способ. Сразу разбогатеть веселее. Осталось 10–12 насосов.

А групповых, «коллективных» приборов – ни одного. Куда ж заводчикам сообща, – передерутся. А сейчас 40 групповых приборов, да еще и приборы-то сами на нашем заводе на 50 % сделаны, а первые шли из Америки. Глубоких насосов 1200, и гордостью стоит тысячная «вышка» на промысле Кирова, оборудованная в честь XV

бакинской партконференции. Это из общего количества 2350 работающих вышек. Еще полторы тысячи скважин ждут своей очереди.

Ненужный дорогой лес вышек снимают, везут на другие стройки.

Делалось не сразу.

Ощупью, понаслышке конструировали машины, стоящие по Америке. А когда дорвались до американских, увидели, что наврали мало, а кой в чем и превзошли свои стальные идеалы.

[1926]

КАК Я ЕЕ РАССМЕШИЛ

Должно быть, иностранцы меня уважают, но возможно и считают идиотом, — о русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение: пригласили поэта, — сказано им — гений. Гений — это еще больше чем знаменитый. Прихожу и сразу:

— Гив ми плиз сэм ти![7]

Ладно. Дают. Подожду — и опять:

— Гив ми плиз…

Опять дают.

А я еще и еще, разными голосами и на разные выражения:

— Гив ми да сэм ти, сэм ти да гив ми, — высказываюсь. Так вечерок и проходит.

Бодрые почтительные старички слушают, уважают и думают: «Вон оно русский, слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север».

Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов.

Не придет ему в голову, что я — ни слова по-английски, что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить, что, подняв язык палкой серсó, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там О и Ве. Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие, сверханглийские фразы:

— Ес уайт плиз файф добль арм стронг…—

И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиною мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать.

Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае, и джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостривая на мой безмолвный счет.

— Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию…

И добросовестный Бурлюк переводит:

— Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю.

Ладно.

Дома отговорюсь.

Я поговорю!

Я поговорю так, что обхохочется не знавший улыбки редактор «Крокодила», я поговорю так, что суровые судебные исполнители, описывающие мебель за неуплату налога, мебель вдовы, голодной старушки, – эти суровейшие чиновники, рискуя потерять службу, будут прыскать со смеху, вспоминая мои слова.

И вот я дома.

Вы поймете меня.

С разинутым ртом, с уже свисающим с губы словом бросаюсь всюду, где есть хоть маленькая надежда поговорить.

С риском возбудить фантастические подозрения, ввязываюсь в меланхолические разговоры выворачивающих сундучки пограничников; встреваю в семейный спор красноармейца и его бабы и, моментально заставив их замолчать, обращаю семейство в бегство; весь в ораторском напряжении, я стою поперек вагонного коридорчика, готовясь на первого вышедшего обрушиться всеми залежавшимися вопросами и ответами.

Оратору поезд, идущий из-за границы, плохая пожива. Направо в купе японцы, и язык у них японский; налево – француз безмолвный, все шире и шире открывающий испуганные глаза с каждым новым километром российского снега.

Лишь одно купе показалось мне подозрительным по возможной русскости, и я повел организованную осаду.

Час тому назад прошмыгнул человек в кашне, весело проорав, ни к кому не обращаясь:

– Они дают пятнадцать градусов мороза, не вижу десять!

Кто ему дает? Почему пятнадцать? Отчего он не видит? Ничего не понятно.

Проорал, захлопнул дверь и набросил цепочку.

Еще через час задверный храп убедил меня ослабить осаду. Я поспал на скорую щеку и в 7 утра уже стоял на посту.

В одиннадцать распахнулась дверь, и появилась женщина, запахнутая в три пары всего заграничного.

Она держала в руках огромную зубную щетку, хотя золото, кажется, лучше чистить замшей.

Женщина деловито обратилась ко мне:

– Кто есть в уборной?

На это я не приготовил ответа и как-то замялся плечами.

– Не заметили? – сказала женщина с таким презрением, что я до Москвы уселся на свое место. Отучился говорить. Крыть нечем. Я ехал из Нью-Йорка, как-то не заметил Москвы и почти что прямо подъезжал к Краснодару. Все-таки я буду говорить.

Я буду говорить с казаками и казачками, Краснодар – это столица Адыгеи, не коридор, не бездарный коридор интернационального, видите ли, общества спальных вагонов.

Уже скопились за день слова и фразы, уже я обернул их так, что должны, не могут не смеяться любые носители русских безграничных слов.

На первом встречном, – говорил я себе, взволакивая чемодан на второй этаж Первой советской гостиницы, – на первом встречном – испробую я веселящую силу слова.

В 8 часов утра в гостиницах еще пусто, но я пережал весь тариф звонков, обозначенный в белой, прислюненной к стенке бумажке.

Пришла молодая, красивая, большая женщина.

– Дайте чаю, – сказал я, справедливо рассчитывая вовлечь ее в разговор, используя посудную волокиту.

Надо расположить ее к себе. Помогая поднять самовар, я уже весело спрашивал:

– Вы по-русски разговариваете? или по-адыгейски?

– Чего? – переспросила она.

– А то вот я из Украины, там столб: направо писано «Бахмач» для русских, и налево такой же самый «Бахмач» – только для украинцев.

– Чтоб не запутались, – согласилась она сочувственно.

– А в вашем городе есть и улица Энгельса и переулок Луначарского?

– Это которые? – спросила она.

Видя несоответствие реплик, я перешел на бытовые темы.

– Шашлыку мне вчера в духане не дали, говорят, неурожай барашков.

– Барашки, правда, не уродились, – согласилась она, уже покончив с посудой, по-видимому, недоумевая и силясь понять, куда я клоню разговор.

– В вагоне, – продолжал я, повышая голос и теряя самообладание, – ко мне человечка посадили, маленький, а копун, утром полчаса одевается. Я ему говорю: чего возитесь? Это мне трудно одеваться, а вам что – брючки у вас крохотные!

Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо:

– Оставьте насчет штанов и их снимания, я член профсоюза, – сказала и вышла, хлопнув дверью.

Озлобленный и униженный, я расстелил мой каучуковый таз-ванну, тяжелыми шагами пошел в уборную и, не доходя до прислужьей комнаты, крикнул в пространство:

– Ведро холодной воды в шестнадцатый номер!

Возвращаясь из уборной, я вдруг встал. Встал как вкопанный. Несся смех. Этот смех несся из моего номера. Я поднялся на цыпочки и пошел, как лунатик, к цели, к щели. Я хочу видеть того, я хочу пожать руку тому, кто сумел рассмешить эту памятниковую женщину.

Завистливый, уткнулся я в дверную расселину. Женщина стояла над моим каучуковым тазом, женщина уперлась в газ слезящимися от смеха глазами и хохотала. Хохотала так, что по ванной воде ходили волны, и не свойственные стоячим водам приливы и отливы роднили таз и море.

_____

В этот день я понял многое: и трудность писательского ремесла, и относительность юмора.

[1926]

РОЖДЕННЫЕ СТОЛИЦЫ

Тот, кто никогда не был в так называемой «провинции», плохо сейчас себе эту провинцию представляет.

Тот, кто был в этой провинции до революции, – не представляет ее совсем.

Прежде всего, самое название «провинция» дико устарело. Архаический язык еще склонен называть провинцией даже такие города, как Минск, Казань, Симферополь, а

эти города, волей революции ставшие столицами, растут, строятся, а главное, дышат самостоятельной культурой своей освобожденной страны.

Наши дни – начало культурной революции – постоянно отмечают рост интересов рабочей массы к литературе.

Мне, по моей разъездной специальности чтеца стихов и лектора литературы, нагляднее и виднее этот рост.

За последние два месяца я выступал около 40 раз по разным городам Союза.

Первое впечатление – аудитория круто изменилась. Раньше редкий город мог бы выдержать более чем один литературный вечер. И аудитория – прежде густые, потом битые сливки города. Расходились задолго до окончания, чтобы не обменяли их ботики и шубы. Расстанешься после вечера и больше никогда и никого не видишь, разве что у зубного врача на приеме.

Сейчас любой платный вечер, рассчитанный на пару-рублевые билеты, неизменно горит. Тем не менее барьеры поломаны и стекла выбиты – это идут по два, по три на каждый входной и галерочный билет. Неизменная фраза перед началом каждого чтения: «Прошу товарищей галерочников слезть в партер!»

Настоящая аудитория и настоящее чтение начинается только на другой день.

Так, в Баку, после вечера в бывшем особняке бывшего миллионера, теперь Дворце тюркской культуры, звонки – «отношения».

– Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!

– Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав такой-то и такой-то дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!

– Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них… – и т. д., и т. д.

Зато и слушатель встречается по-другому.

Грузчик в Одессе, свалив на пароход чьи-то чемоданы, здоровается со мной без всякого обмена фамилиями и, вместо: «Как поживаете?» – валит: «Скажи Госиздату, чтобы Ленина твоего дешевле издал».

Красноармеец из уличного патруля (3 года назад в Тифлисе) сам удостоверяет мою поэтическую личность.

За один день читал (за один, но не один) от гудка до гудка, в обеденный перерыв, прямо с токарного станка, на заводе Шмидта; от пяти до семи – красноармейцам и матросам в только что строенном, прекрасном, но холодном, нетопленном Доме Красной Армии; от девяти до часу – в университете, – это Баку. Еще бы, он столичнится на моих глазах.

Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Черного и Белого города, за ней – тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели – аллах ведает, а если и жили где, то не долго.

Пыльно, безлисто.

Культура – «интернациональная».

Язык – среднерусский: «беру манташевские, даю манташевские!»

Запросы простые – заплатить копейку, вышибить рупь.

А тюркский язык – к чему он? Манташев и без него в Париже обойдется, а манташевский рабочий читать все равно не умеет.

Я видел Баку 24-го года.

Свобода наций бурно выплеснулась на каждый дом тюркским алфавитом вывесок.

С неба непрерывный дождь, с боков непролазная грязь (она течет с боков горок, делая улицы непроходимыми). С моря — непродуваемый, непродыхаемый норд-ост.

Каждый день моего недельного визита, пробираясь с кем-нибудь или к кому-нибудь из бакинцев, я слушал бесконечные планы, проекты.

Азцик. Тов. Агамали-Оглы говорит: «Тюркский алфавит — уже препятствие нашей культуре, мы переведем его на европейский, латинский».

Азнефть. Тов. Киферис говорит: «Желонки, фонтаны уже препятствие для нефтепромышленности. Мы переведем ее, выравняем на Америку, на групповой привод».

Азпролеты. Поэт говорит: экзотика, чадры, «синь тюркская» и прочие восточные сладости, вывозимые отсюда Есениным, — уже препятствие для нашей культуры, — мы должны ориентировать ее на рабочего, на индустрию.

После годовщины десятилетия я опять объехал Баку.

Часов в 6 утра протираю глаза. И от утра, и от необычайности зрелища. Навстречу прогромыхал электропоезд. Огромнейшие, чистейшие вагоны поднимали к проводам пары стальных иксов. На таких иксах вели поезда электровозы по тоннелям под Нью-Йорком. В двадцать четвертом я трясся здесь в чем-то теплушечном, обдаваемый копотью. Тогда дорога шла через песок и пустырь, сейчас — через европейские коттеджи, в садиках и цветниках.

Въезжаю в Баку.

В первый раз в жизни читаю тюркские слова вывесок латинским шрифтом.

Этот шрифт — культурнейшая революция, — это сближены пониманием начертания — четверти человечества.

Хожу. На пригорке сад. Лестница белого камня. Было кладбище. Велели родственников перенести. Теперь разрастается парк и сад, а лестница из невзятых памятников.

Вечером читаю в Доме тюркской культуры. До начала меня ведут в просторный зал читальни. Тов. Юрин, талантливый поэт из Бакинской ассоциации пролетписателей, знакомит с тюркскими, уже большими и знаменитыми (4 года!) писателями.

На столе развернуты журналы — толстый лит-политический — полутюркский, полулатинский алфавит. Тоньше — пионерский.

Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура — экономического, политического и культурного центра Азербайджана.

Сходства культуры — это не насилие сотни миллионов над десятком, — это общность идей одного трудового человечества, на разных языках строящего одну коммунистическую культуру.

На другой день я сорок минут мчал трамваем через новенький город в клуб Шаумяна — рабочие-подростки слушали стихи, не шелохнувшись, а потом — засыпали снегом записок.

— Что такое рифма?

— Как выучиться стать поэтом?.. и т. д.

Через три часа заторопились, но и торопливость особенная.

— Кончай, товарищ, а то завтра в семь утра трубы таскать, а уходить не хочется.

Я взялся писать и о Минске, и о Харькове, и о Краснодаре, и о Казани, но не могу оторваться на коротком расстоянии фельетона и от одного Баку.

Поэты и писатели, где живая хроника городов и людей?

Жизнь интереснее и сложнее поэтических и беллетристических книг о ней.

Я видел, как хохотали рабочие Баку над Яковом Шведовым, повертевшимся по Баку в качестве метра и потом тиснувшего в Москве стих (проснитесь, тов. редактор! У вас есть Б. С. Э.?) о том, что баржи наливаются нефтью прямо в Баку и прямо прут на Босфор, и даже без крохотной пересадки. А в хвост к этому стиху пристегнул от стиха бакинского поэта Юрина и без всяких кавычек.

Это пишет «знаменитый», бывший в Баку, а что пишут не знаменитые и не бывшие?

Провинция слопает! — так, что ли?

Фактов я еще наприведу в других очерках, но выводы и сейчас ясны.

Провинций много и сейчас, но они не то и не там, где были раньше. Провинция — думать, что для стихов подойдет и Каспийское море, впадающее в Черное.

Провинция — думать, что стихи величественнее газетной заметки, хотя их, как видите, можно высасывать из пальца (даже из чужого!), и никто за это из поэтов не выгоняет.

По Советской республике накопились новые факты, и ловить их в записную книжку интереснее, чем размусоливать потрепанный любовный фактик в целый роман или рассказ. Интереснее и читателю и писателю. Если писатель продолжит по-старому, его перерастет и массовый читатель, как уже перерос многие категории культработников.

Союз Советских Республик — это не политическая формула. Это жизнь тела территорий и наций со светлыми и особенными головами столиц.

[1928]

Комментарии
«ПАРИЖ (ЗАПИСКИ ЛЮДОГУСЯ)». «ПАРИЖ. ТЕАТР ПАРИЖА». «ПАРИЖ. БЫТ». «ПАРИЖСКИЕ ОЧЕРКИ. МУЗЫКА». «СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ». «ПАРИЖСКИЕ ПРОВИНЦИИ». «СЕГОДНЯШНИЙ БЕРЛИН».
Маяковский выехал впервые за границу в мае 1922 года. Поездка была непродолжительной, да и сама эта «заграница» не была для него новинкой: она совсем недавно входила в состав Российской империи и только в результате Октябрьской социалистической революции обрела статут независимого государства. Это была буржуазная Латвия, а точнее, ее столица — Рига, куда Маяковский приехал, по-видимому, 3 мая и пробыл немногим более недели (13 мая он уже вернулся в Москву). Поездка была предпринята Маяковским в связи с намечавшимися планами издания в Риге ряда книг по заказу Госиздата, в частности издания поэмы «Люблю» одним из рижских издательств. Поэт намеревался также прочесть публичную лекцию о советской литературе. Однако осуществить все эти планы не удалось. Он сразу же был взят на учет охранкой как особо опасный иностранец, как «работник комиссариата просвещения, — работник представительства Советской России», за каждым шагом его неусыпно следили опытнейшие филеры. Публичная лекция была запрещена по решению министра внутренних дел, а отпечатанный к этому времени тираж книги «Люблю» (2500 экз.) конфискован и полностью уничтожен. Неосуществленными оказались и другие издательские планы.

Первая зарубежная поездка Маяковского не нашла широкого отражения в его творчестве. О своих впечатлениях от этой поездки он расскажет сразу же по возвращении в Москву лишь в стихотворении «Как работает республика демократическая?». Однако уже эта кратковременная поездка предопределит в значительной мере как сам характер восприятия поэтом зарубежного буржуазного мира, так и ярко выраженную публицистическую и сатирическую заостренность в освещении этого мира, характерные для всех последующих его зарубежных поездок.

Недельное пребывание в чистенькой, сытой и благополучной Риге помогало поэту еще лучше осознать грандиозность тех социальных, политических, культурных и нравственных преобразований, которые происходили в голодной, разутой, раздетой, но по-настоящему свободной и по-настоящему демократической Советской России.

Маяковский развенчивает «благоустройства заграничные», вскрывает истинную сущность буржуазных порядков, лицемерие и ханжество «демократических» правителей Латвии, иллюзорность так называемых «демократических прав» и «демократических свобод». Поэт издевается над людьми, низкопоклонствующими перед буржуазным Западом, представляющими «буржуазный рай» в самом розовом свете и не желающими видеть пропасть, которая разделяла этот «рай» на два непримиримых лагеря — труда и капитала. С гордостью противопоставляя буржуазной Латвии свою страну, Республику Советов, Маяковский делал вывод:

Зря,
ребята,
на Россию ропщем.

Все это определяет и тот насмешливо-иронический тон поэта в описаниях «демократии», «свобод» и «благоустройств заграничных», сочетающийся с патриотической гордостью и пафосом утверждения нового мира, новых общественных отношений, которые станут характерными для всех последующих произведений Маяковского на зарубежные темы, включая очерки и памфлеты такого рода. А к этим боевым жанрам публицистики поэт обращается сразу же после возвращения из второй, более длительной поездки своей в Европу, которая состоится в октябре — декабре того же, 1922 года. Часто будет он пользоваться этими жанрами и в последующие годы, когда возникнет потребность поделиться своими зарубежными впечатлениями с многомиллионными массами читателей газет и журналов.

Когда осенью 1922 года Маяковский собирался в длительную поездку за границу, в Берлин и Париж, то в тезисах к одному из своих выступлений записал, что едет не удивляться, а удивлять (ГММ, зап. кн. № 14, 1922). А в газетном отчете о вечере Маяковского, состоявшемся 3 октября в Большом зале консерватории, приводятся следующие слова из его выступления: «Я уезжаю в Европу, как хозяин, посмотреть и проверить западное искусство. Искусство должно идти и служить массам» («Вечерние известия». 1922, 9 октября). В этот день, 9 октября, поэт выехал через Ревель (ныне Таллин) и Штеттин (ныне Щецин) в Берлин.

В Берлине Маяковский пробыл около месяца. 20 октября он выступает в кафе «Леон» на собрании Дома искусств с докладом и чтением стихов, 27 октября выступает там же в прениях по докладу В. Шкловского «Литература и кинематограф», 3 ноября — все там же — на диспуте «Современная русская живопись и русская выставка в Берлине». Четвертое выступление Маяковского в Берлине состоялось 7 ноября в полпредстве СССР на вечере, посвященном пятой годовщине Октябрьской революции. Известно и пятое выступление поэта в Берлине 15 ноября в Шуберт-зале на вечере, организованном объединением российских студентов в Германии. Через два дня он выехал из Берлина в Париж.

В Париже Маяковский пробыл лишь неделю. 25 ноября он уже выехал обратно в Берлин. Однако за эту неделю он сделал и повидал многое: посетил мастерские художников, художественные галереи, выставку «Осенний салон», парижские театры, встречался с композиторами и писателями, побывал на заседаниях палаты депутатов и осмотрел аэродром Бурже. Все это будет описано им позже в очерках и памфлетах, найдет отражение в стихах так называемого парижского цикла.

25 ноября Маяковский выехал из Парижа в Берлин, пробыл еще некоторое время там, а 13 декабря уже вернулся в Москву. И сразу же приступил к литературной «обработке» своих впечатлений, начал «отчитываться» о результатах зарубежной поездки перед своим читателем как в устных выступлениях, так и в печати. 20 декабря 1922 года он выступает в Политехническом музее с докладом «Что делает Берлин?», а 27 декабря там же с докладом «Что делает Париж?». С 24 декабря начинают публиковаться в «Известиях» очерки и памфлеты о Париже. В конце января — начале февраля 1923 года он пишет очерки «Сегодняшний Берлин» и «Парижские провинции» для Бюллетеней Агитпропа ЦК РКП(б), в которых начинает активно сотрудничать с конца декабря 1922 года. Впечатлениями поездки за рубеж навеяны стихотворения поэта «Германия» (опубликовано в «Известиях» 4 января 1923 года) и «Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)», увидевшее свет в журнале «Красная нива» — иллюстрированном еженедельном приложении к «Известиям» (1923, 4 марта). Тогда же, в январе 1923 года, под влиянием поездки в Германию и Францию Маяковский начнет работать над серией стихотворных памфлетов, которые составят вскоре его книгу «Маяковская галерея». Отзвуки заграничных впечатлений дают знать о себе и в других стихотворениях, написанных поэтом в первом полугодии 1923 года.

Маяковский приезжает в Европу в то время, когда особенно ярко обнажились противоречия внутри капиталистического лагеря и обозначились первые значительные успехи советской дипломатии на международной арене.

В Германию он прибыл вскоре после Рапаллского договора и возобновления дипломатических отношений этой крупнейшей страны капиталистической Европы с Советской Россией. Это не могло не наложить определенного отпечатка сдержанности и недоговоренности на его публичные отклики о пребывании в Германии. Действительно, немецкой теме он посвящает лишь стихотворение «Германия» да очерк «Сегодняшний Берлин», предназначенный для местной печати. И это было все, если не считать стихотворного памфлета о Стиннесе из «Маяковской галереи», который будет написан и впервые опубликован весной 1923 года незадолго до новой зарубежной поездки поэта. Иное дело Франция, Париж. На эти темы он пишет ряд стихотворений. Париж и парижская жизнь дают содержание его очеркам и памфлетам, написанным в эту пору, то есть в самом конце декабря 1922 — первой половине 1923 года («Париж (Записки Людогуся)», «Осенний салон», «Париж. Художественная жизнь города», «Париж. Театр Парижа», Париж. Быт», «Парижские очерки. Музыка», «Парижские провинции»). Все они, кроме очерка «Парижские провинции», были опубликованы в «Известиях».

В январе 1923 года Маяковский объединил очерки «Париж (Записки Людогуся»), «Осенний салон» и «Париж. Художественная жизнь города», частично их переработав, в книгу «Семидневный смотр французской живописи». Для этой книги были написаны им предисловие и послесловие «Вывод». 25 репродукций с картин французских художников должны были служить иллюстрациями к этой книге, 12 февраля 1923 года поэт заключил с Госиздатом договор на ее издание, но издание это не состоялось. Рукопись книги с авторскими поправками была обнаружена в 1931 году в архиве Госиздата и в 1932 году впервые опубликована в альбоме рисунков Маяковского (Изогиз).

Содержание других очерков и памфлетов Маяковского этого периода ограничивается, казалось бы, тоже преимущественно вопросами искусства и литературы: театра, музыки, живописи, быта актеров, композиторов, писателей, художников, Однако за всем этим чувствуется стремление автора разобраться в самых острых и злободневных проблемах социальной и политической жизни Франции и Германии, с общественных, классовых позиций оценить как всю современную европейскую литературу и все искусство, так и отдельные его явления, творчество разных художников. За всем этим слышен голос советского патриота, который хорошо осознает цену тем благам, что завоеваны его народом в ходе социалистической революции, с иронией или скепсисом поглядывает на так называемые «благоустройства заграничные», на иллюзорные прелести буржуазного рая и вместе с тем внимательно присматривается к тому хорошему и разумному, что можно будет по-хозяйски приспособить к нуждам своей страны.

Париж(Записки Людогуся). Впервые — газ. «Известия ВЦИК», М., 1922, 24 декабря. В сокращенном и частично переработанном виде вошел в рукопись книги «Семидневный смотр французской живописи».

Людогусь — образ из поэмы Маяковского «Пятый Интернационал», над которой поэт работал в 1922 году до отъезда за границу. Поэма была опубликована в «Известиях» (1-я часть — 10 сентября, 2-я часть — 23 сентября 1922 года).

4-я Тверская-Ямская — улица в Москве.

Улица Жака Калло — улица в Париже. Жак Калло (ок. 1591–1635) — французский художник.

Пуанкаре, Раймон (1860–1934) — французский реакционный политический деятель, ярый милитарист и враг Советского государства. В 1912–1913, 1922–1924, 1926–1929 годах — премьер-министр Франции, в 1913–1920 годах — президент Французской республики. Один из организаторов интервенции и блокады Советской России.

Веселенький разговорчик в германском консульстве… – Имеется в виду французское консульство в Берлине Эпизод, рассказанный далее, будет использован Маяковским через семь лет в стихотворении «Стихи о советском паспорте».

Беленькое консульство! – бывшее консульство царской России; после Октябрьской революции – белогвардейское.

Унтер-ден-Линден. – Улица в центре Берлина, где находилось советское посольство.

Откуда едете? – Из Берлина… Из Штетина… Из Ревеля… из Нарвы. – После опубликования стихотворения «Как работает республика демократическая?» латвийское правительство отказало Маяковскому в транзитной визе, и он вынужден был поехать в Германию кружным путем – через Эстонию, затем морем (см. об этом начало очерка «Сегодняшний Берлин»).

«Санитарный паспорт». – По окончании интервенции и гражданской войны заправилами капиталистического мира были установлены на границах Советской России так называемые «санитарные кордоны». Под предлогом борьбы с эпидемией тифа они стремились уберечь свои страны от проникновения «заразы большевизма».

В Майолях, Альгамбрах – парижские театры. См. о них следующий очерк «Париж», главы «Вкус махрового буржуа» и «Разноцветный вкус».

Монмартр – район Парижа, в котором селились представители литературной богемы, нищие художники, артисты, шансонье и где сосредоточены были ночные увеселительные заведения.

…Версальский договор – мирный договор 1919 года, подписанный в Версале и закрепивший передел мира империалистическими державами-победительницами после первой мировой войны.

…из Севрского… – мирный договор, подписанный в 1920 году в Севре, предусматривал расчленение Турции.

…из обязательств нашего Николая… – Речь идет о займах, предоставленных французскими банкирами царскому правительству. Значительная часть облигаций займов была размещена среди французской мелкой буржуазии.

…Галль – «желудок Парижа»… – центральный рынок Парижа, ныне не существующий.

…«мораторий», «передышка»… – Речь идет об отсрочке германских репарационных платежей.

…270 интервью Эррио. – Один из крупнейших политических деятелей Франции Эдуар Эррио (1872–1957) приезжал в 1922 году в Москву, чтобы подготовить почву для восстановления дипломатических отношений между Россией и Францией. По возвращении на родину дал многочисленные интервью газетам. В 1924 году, став премьер-министром Франции, установил дипломатические отношения с СССР, а позже подписал франко-советский пакт о ненападении. В 1942 году арестован гитлеровцами и заключен в концлагерь, откуда в 1945 году был освобожден советскими войсками. В 1946–1954 годах – председатель, а с 1954 года – почетный председатель Национального собрания. Последовательный сторонник сближения с СССР и разрядки международной напряженности. В 1955 году ему присуждена Международная премия Мира.

Вячеслав Иванов – Ива́нов, Вячеслав Иванович (1866–1949) – русский поэт-символист, драматург, историк.

Вержболово – русская пограничная станция между Россией и Германией до первой мировой войны.

Койранский, Александр Арнольдович – журналист, писавший об искусстве.

Савинков, Виктор Викторович – русский художник, входивший в общество «Бубновый валет».

Пикассо, Пабло (1881–1973) – французский художник испанского происхождения, крупнейший представитель формалистических течений кубизма, неоклассицизма, сюрреализма.

Балиев, Никита Федорович (1877–1936) – основатель и руководитель театра-кабаре «Летучая мышь», выступал как актер и конферансье. После революции проживал за границей.

Чухлома – город в Костромской области; здесь – символ захолустья.

Брак, Жорж (1882–1963) – французский художник, один из основателей кубизма.

Меценже, Жан (1883–1956), Глез, Альбер (1881–1953) – французские художники.

Леже, Фернан (1881–1955) – французский живописец и график.

Делонэ, Робер (1882–1941) – французский художник, возглавлявший течение так называемых «симультанистов».

Дерен, Андре (1880–1954), Матисс, Анри (1869–1954) – французские художники, входившие в группу так называемых «диких».

…«да-да»… – дадаизм, одно из формалистических течений западноевропейского искусства.

Бланш, Жак-Эмиль (1861–1942) – французский художник.

Сомов, Константин Андреевич (1869–1939) – русский художник, входивший в эстетское объединение «Мир искусства».

…моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных… – Художник Малявин Ф. А. (1869–1940) с 1922 года жил за границей.

Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869–1945) – русская поэтесса, декадентка, после Октябрьской революции – белоэмигрантка.

Париж. Театр Парижа. Впервые – газ. «Известия ВЦИК», М., 1923, 2 февраля.

Театр Сары Бернар – драматический театр, возглавлявшийся с 1899 года знаменитой французской актрисой Сарой Бернар (1844–1923).

Мистингет (Буржуа, Жанна) (1875–1956) – французская актриса.

Жорес, Жан (1859–1914) – один из крупнейших деятелей французского и международного социалистического движения, активно боролся против развязывания первой мировой войны. Убит агентами империализма за день до войны.

Вильсон, Вудро (1856–1924) – президент США в 1913–1921 годах. Один из активных организаторов антисоветской интервенции в период гражданской войны.

Бисмарк, Отто (1815–1898) – канцлер Германской империи в 1871–1890 годах.

Кокто, Жан (1889–1963) – французский писатель, художник и театральный деятель, представитель авангардизма в искусстве и дадаизма в литературе 20-х годов.

Париж. Быт. Впервые – газ. «Известия ВЦИК», М., 1923, 6 февраля.

Жоффр, Жозеф (1852–1931) – французский маршал, главнокомандующий французской армией в первую мировую войну, один из организаторов иностранной интервенции против Советской России.

…на банкете, устроенном по случаю моего приезда художниками Монмартра… – Банкет состоялся 24 ноября 1922 года.

Скобелев, Матвей Иванович (1885–1939) – работник Наркомата внешней торговли.

Бахметьеву в Вашингтоне. – Многие дипломатические представители царской России после победы Великой Октябрьской социалистической революции отказались подчиниться советскому правительству и продолжали незаконно именовать себя «послами» России.

Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1866–1941) – русский писатель-декадент и реакционер, после Октябрьской революции – белоэмигрант, один из наиболее злобствующих врагов Советского Союза.

Бунин, Иван Алексеевич (1870–1953) – русский писатель, с 1920 года проживал за границей.

Блок, Александр Александрович (1880–1921) – великий русский поэт. Приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и был в рядах первых строителей советской культуры.

…разный смысл «12»… – Речь идет о поэме А. Блока «Двенадцать».

Дюшес де Клармонт – герцогиня де Клармонт.

Монпарнас – район Парижа.

Сидят с величественностью Рамзеса… — Рамзес II, египетский фараон (1317–1251 до н. э.).

Тюльерийский сад — парк в Париже.

«Диле» — берлинские кафе, в которых посетители танцуют.

Фореггер, Николай Михайлович (1892–1939) — советский режиссер, руководитель творческой мастерской.

Узкая и без того коммунистическая полоска еще сузилась с отъездом коминтернцев в Москву. — Во время пребывания Маяковского за границей в Москве работал IV конгресс Коминтерна (5 ноября — 5 декабря 1922 года). В его работе приняли участие несколько коммунистов — депутатов французского парламента.

Пере, Рауль (1870–1942) — председатель французской палаты депутатов в 1922 году.

Парижские очерки. Музыка. Впервые — газ. «Известия ВЦИК», 1923, 29 марта.

Между мной и музыкой древние контры… — см. «Я сам».

«Благородное собрание» — Дом московского дворянского собрания. Теперь Дом Союзов.

Стравинский, Игорь Федорович (1882–1971) — русский композитор, проживавший с 1910 года постоянно за границей. Крупнейший представитель модернизма в музыке.

«Петрушка» — балет Стравинского; «Соловей» — его же опера.

Дягилев, Сергей Павлович (1872–1929) — русский художественный и театральный деятель, организатор так называемых «русских сезонов» за границей, художественных выставок и русских балетных спектаклей в Париже и Лондоне в 1904–1929 годах. Сыграл большую роль в пропаганде русского искусства за рубежом.

«Мавра» — комическая опера Стравинского на сюжет «Домика в Коломне» А. С. Пушкина (1922).

Прокофьев, Сергей Сергеевич (1891–1953) — известный советский композитор. С 1918 по 1932 год жил за границей.

…под влиянием нашей «пятерки»… — Под влиянием пяти выдающихся русских композиторов второй половины XIX века, так называемой «могучей кучки» (М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, М. П. Мусоргский).

…шестерка… — группа молодых французских композиторов (Д, Мийо (Мильо) (род. 1892), А. Онеггер (1892–1955), Ф. Пуленк (1899–1963), Ж. Орик (1899), Л. Дюрей (род. 1888) и Ж. Тайфер (род. 1892), сложившаяся под влиянием модернистской музыки И. Ф. Стравинского, увлечений урбанизмом и конструктивизмом. Получила название «Шестерка».

…в последнем номере журнала «Запад»… – Имеется в виду статья композитора А. С. Лурье «Шестерка» в журнале «Современный Запад» (1922, № 1).

Анатоль Франс (1844–1924), Барбюс, Анри (1873–1935), Ромен Роллан (1866–1944) – крупнейшие французские писатели конца XIX – начала XX века, составили ядро литературной группы «Кларте», выступившей с разоблачением империализма (1919).

Бенуа, Пьер (1886–1962) – французский писатель, автор многочисленных авантюрных романов, построенных на экзотическом материале и отличающихся надуманным психологизмом, эротикой и мистицизмом.

«Всемирная литература» – советское издательство, организованное в 1918 году по инициативе А. М. Горького. Выпускало классические произведения мировой художественной литературы.

Марсель Пруст (1871–1922) – французский писатель, создавший новый вид психологического романа.

Жан Кокто – см. примечания к очерку «Театр Парижа».

«Эспри нуво» – журнал, издававшийся группой поэтов и художников в Париже.

Галлиени, Жозеф (1849–1916) – командующий одной из французских армий. В середине 1914 года, в период немецкого наступления на Париж, организовал успешное контрнаступление на Марне.

…при первом Феврале… – Маяковский имеет в виду Февральскую буржуазно-демократическую революцию в России 1917 года.

Группа Клартэ – первое международное антиимпериалистическое объединение прогрессивных писателей и деятелей культуры, созданное в 1919 году Анри Барбюсом. В состав его руководства входили крупнейшие деятели литературы и искусства того времени: А. Франс, П. Вайян-Кутюрье, Р. Лефевр, художник Т. А. Стейнлен (Франция), Г. Уэллс, Т. Гарди (Англия), В. Бласко Ибаньес (Испания), Г. Брандес (Дания), Э. Синклер (США). Активными членами этой группы, организаторами движения в своих странах и участниками его были Р. Роллан, Б. Шоу, С. Цвейг, Г. Манн, Р. Тагор, Назым Хикмет и другие. Писатели и художники этой группы писали о мировом значении русской революции, осуждали интервенцию и блокаду Советской России, провозглашали борьбу за освобождение человечества. В октябре 1919 года А. Барбюс начал издавать при «Кларте» газету того же названия, а с ноября 1921 года – журнал «Кларте». Тогда же, в 1920 году, было создано одноименное издательство. Журнал вел борьбу с реакцией 20-х годов, знакомил с успехами культурного строительства в Советской России, с творчеством М. Горького, В. Маяковского. В журнале печатались работы В. И. Ленина, А. В. Луначарского, М. Горького. Высоко оценил антимилитаристскую деятельность группы «Кларте» В. И. Ленин, послав ей в 1922 году приветствие (см. Полн. собр. соч., т. 45, стр. 299).

Группа унанимистов… – литературное течение во французской литературе, возникшее в начале XX века и объединившее молодых писателей: Ж Ромен (1885–1972), Ж. Дюамель (1884–1966) и др. объявили себя противниками символистов, стремились вначале к социальной тематике, правдивому изображению действительности, простоте стиля, однако эклектизм взглядов, абстрактный гуманизм и мистический культ «единодушия» человеческих коллективов, независимо от классов и экономических условий, мешали им стать на позиции реализма. В пору своего создания это течение сыграло определенную положительную роль в развитии французской литературы, позже отдельные представители этого течения и его теоретики правеют, приходят к апологетике буржуазного общества, оправданию политической реакции, оказываются в

числе противников социализма.

Поль Валери (1871–1945) – французский поэт и эссеист, сторонник «чистого искусства», выразитель крайнего субъективизма во французской литературе 20-х годов. Его абстрактная поэзия отличалась нарочитой усложненностью образов.

«Семидневный смотр французской живописи». Книга, подготовленная Маяковским в начале 1923 года к изданию, при жизни Маяковского опубликована не была. Впервые – в альбоме рисунков Маяковского, Изогиз, 1932.

В книгу вошли три очерка, публиковавшиеся ранее в «Известиях ВЦИК»: «Париж (Записки Людогуся)» (24 декабря 1922 г.), «Осенний салон» (27 декабря 1922 г.) и «Париж. Художественная жизнь города» (13 января 1923 г.). Первый очерк был сокращен за счет главок, не имеющих отношения к живописи, и сатирически заострен, два вторых были частично переработаны в том же духе. Для книги были написаны предисловие и послесловие «Вывод».

Щукин, Сергей Иванович (1854–1936) – московский коллекционер произведений искусств.

«Бубновый валет» (1910–1925) – объединение московских живописцев, порвавших с традициями реалистической живописи и выступавших с формалистических позиций против идейности искусства.

Камерный театр – драматический театр в Москве (1914–1950).

«Ротонда» – кафе в Париже, в котором собирались русские поэты и художники.

«Ню» (франц.) – изображение обнаженного женского тела.

Бодаревский, Николай Корнилиевич (1850–1921) – русский художник-портретист и жанрист. В 80-е годы XIX века проявил себя как талантливый художник реалистического направления, с 1884 года – член Товарищества передвижников. В дальнейшем отошел от реализма и демократической тематики, сделавшись салонным портретистом; его жанровые картины этой поры рассчитаны на примитивные вкусы буржуазной публики.

Пикабиа, Франсис (1879–1953) – французский живописец формалистического направления.

Григорьев, Борис Дмитриевич (1886–1939) – русский художник-экспрессионист учился в 1903–1907 годах в Строгановском художественно-промышленном училище и в 1907–1912 годах в Академии художеств, в мастерской Репина. В 1912–1914 годах работал в Париже, с 1919 года постоянно проживал за границей.

В записной книжке 1922 года № 18 (ГММ) Григорьев оставил свой адрес и тоскливую запись: «Не забывай».

Шухаев, Василий Иванович (род. 1887) – русский художник, окончил Строгановское училище, а затем в 1912 году Академию художеств (мастерская Кардовского). Заслуженный деятель Грузинской ССР, профессор Тбилисской академии художеств. В 20-е годы проживал некоторое время за границей, в Париже.

Яковлев, Александр Евгеньевич (1887–1938) – русский художник, окончил в 1913 году Академию художеств (мастерская Кардовского) и получил заграничную

командировку (1914–1915), в 1917 году предпринял поездку по Китаю, Японии, Монголии и проживал в дальнейшем за рубежом.

Кузмин, Михаил Алексеевич (1875–1936) – русский писатель, примыкал к символизму, затем акмеизму, был близок с художниками «Мира искусства», в его поздних произведениях усиливаются модернистские тенденции.

Ахматова, Анна Андреевна (1889–1966) – известная русская и советская поэтесса, примыкавшая в ранние годы творчества к акмеизму.

Сорин, Савелий Абрамович (1878–?) – русский художник, ученик И. Е. Репина, после Октябрьской революции проживал за границей.

Павлова, Анна Павловна (1881–1931) – знаменитая русская балерина, с огромным успехом гастролировавшая за границей в балетных спектаклях С. П. Дягилева в 1904–1929 годах.

Битти, Дейвид (1871–1936) – граф, британский адмирал.

«Биржевка» – петербургская газета «Биржевые ведомости» (1880–1917).

Сезанн, Поль (1839–1906) – французский художник-импрессионист, в дальнейшем один из родоначальников постимпрессионизма.

Ван-Гог, Винсент (1833–1890) – голландский художник, начинавший как реалист, а в дальнейшем, с переездом во Францию, один из крупнейших представителей постимпрессионизма.

…в боттичеллевской обработке… – Боттичелли, Сандро (1445–1510) – великий итальянский живописец эпохи Возрождения.

Пентр (франц.) – художник.

Бурбонские лилии – эмблема французской королевской династии Бурбонов.

Елисейские поля – улица в Париже; здесь в Большом дворце устраивались художественные выставки-салоны.

Энгр, Жан Огюст Доминик (1780–1867) – выдающийся французский живописец и рисовальщик. Классицистическим тенденциям в его творчестве, которые со временем приобрели консервативный, оторванный от реальной жизни характер, следовали многочисленные академические салонные художники XIX века.

Руссо, Анри (1844–1910) – французский художник.

…девочка совсем серовская… – Серов, Валентин Александрович (1865–1911) – великий русский художник.

Татлин, Владимир Евграфович (1885–1953) – родоначальник русского абстракционизма; после Октябрьской революции обращается к конструированию так называемых контррельефов из различных материалов. Эти его опыты нашли практическое применение в декоративном искусстве, в архитектуре и художественном

конструировании. Был автором проекта монумента III Интернационалу.

Якулов, Георгий Богданович (1884–1928) – художник из «Мира искусства».

Гончарова, Наталия Сергеевна (1881–1962) – русский живописец и декоратор левого направления. Училась в московском Училище живописи (1901–1909), принимала участие в 1910 году в выставке «Бубновый валет».

Ларионов, Михаил Федорович (1881–1964) – русский художник левого направления, один из главарей ищущей художественной молодежи еще в годы учения в московском Училище живописи, ваяния и зодчества (исключен оттуда в 1910 году). Принимал участие в выставке футуристов «Бубновый валет», а в 1911 году вместе с Н. С. Гончаровой (см. выше) основывает общество живописцев-формалистов «Ослиный хвост», объединившее русских футуристов и лучистов. В 1915 году по приглашению Дягилева начинает работать, как и Гончарова, в области театральной живописи, навсегда связывает себя с дягилевской антрепризой и поселяется в Париже. Эпизодически обращаясь к станковой живописи в последующие годы, он постепенно отходит от лучистских и футуристических крайностей.

Бакст, Лев Самойлович (1866–1924) – художник из «Мира искусства», модернист, жил и работал преимущественно в Париже, где особую известность завоевал театральными декорациями в дягилевских антрепризах и рисунками дамских мод.

«Смена вех» – сборник статей, изданный в 1921 году в Праге белоэмигрантами Н. Устряловым, Ю. Ключниковым, А. Бобрищевым-Пушкиным и другими. Сменовеховцы, полагавшие, что с переходом к НЭПу Россия встала на путь капиталистического развития, объявили об отказе от борьбы с революцией и признании Советской власти. Такой поворот буржуазной интеллигенции к сотрудничеству с Советской властью, с одной стороны, свидетельствовал о косвенном признании нового строя, с другой стороны, таил в себе большую опасность, так как под знаменем «сменовеховства» объединялись силы, заинтересованные в восстановлении капитализма в России. На это неоднократно указывал В. И. Ленин.

Барт, Виктор Сергеевич (1887–1954) – русский художник, работавший в Париже.

Парижские провинции. Впервые – Бюллетень Пресс-бюро Агитпропа ЦК РКП(б), выпуск «А», М., 1923, 13 февраля, № 10.

Сегодняшний Берлин. Впервые – Бюллетень Пресс-бюро Агитпропа ЦК РКП(б), выпуск «А», М., 1923, 31 января, № 7.

…французы ходили с молотками и разбивали новенькие моторы! – По условиям Версальского мирного договора вся немецкая военная авиация подлежала уничтожению.

Гросс, Георг (1893–1959) – немецкий художник-карикатурист, автор острых зарисовок жизни и быта Германии 20-х годов XX века. Маяковский привез из Берлина два альбома репродукций рисунков Гросса; некоторые из них были напечатаны в журнале «Красная нива».

«АМЕРИКА». «МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ». «МЕКСИКА». «АМЕРИКАНСКОЕ КОЕ-ЧТО». «СВИНОБОЙ МИРА». «ЕЗДИЛ Я ТАК».
3 июля 1923 года Маяковский вылетел из Москвы в Кенигсберг – центр Пруссии (ныне – г. Калининград). Готовясь к этой зарубежной поездке, поэт строил широкие планы. Поддерживал эти планы нарком просвещения А. В. Луначарский. 10 мая 1923

года он написал специальное письмо в Наркоминдел по поводу заграничного паспорта Маяковского; «Наркомпрос дает командировку известному поэту коммунисту Маяковскому. Цели, которые он преследует своей поездкой в Германию, находят полное оправдание со стороны Наркомпроса. Они целесообразны с точки зрения вообще поднятия культурного престижа нашего за границей. Но так как лица, приезжающие из России, да притом еще с репутацией, подобной репутации Маяковского, натыкаются иногда за границей на разные неприятности, то я, ввиду всего вышеизложенного, прошу Вас снабдить Маяковского служебным паспортом».

Однако служебный паспорт Маяковскому получить, очевидно, не удалось, отъезд за рубеж затянулся, а сама поездка свелась практически к отдыху. Около трех недель он отдыхал в Флинцберге, в конце июля побывал по издательским делам в Берлине, а весь август провел на отдыхе в курортном местечке Нордерней, расположенном на одноименном острове в Северном море у северо-западного побережья Германии. (Свои впечатления он описывает в стихотворении «Нордерней», написанном для «Известий» в начале августа, а в начале сентября там же, в Германии, в Берлине, пишет для «Огонька» стихотворение «Москва — Кенигсберг».) В первых числах сентября Маяковский приехал опять в Берлин, а 18 сентября 1923 года возвратился в Москву. В Москве он с головой уходит в работу над плакатами и рекламой, в повседневную журналистскую деятельность и только после октябрьских событий в Германии (восстание рабочих г. Гамбурга) пишет несколько стихотворений, подсказанных впечатлениями от поездки в Германию: «Солидарность», «Уже!», «Киноповетрие («О развлечениях Европы»)».

В конце 1923 — начале 1924 года Маяковский вновь усиленно готовится к поездке за океан. Опять заручается поддержкой А. В. Луначарского. В письме наркома просвещения от 19 декабря 1923 года «Товарищам полпредам, представителям НКП за границей и другим представителям Советской власти» говорилось: «Известный поэт В. В. Маяковский командируется Наркомпросом в длительную поездку с широкими художественно-литературными целями. Наркомпрос РСФСР просит всех официальных представителей российского и союзных правительств, а равно всех лиц, стоящих на советской платформе и могущих быть полезными тов. Маяковскому в его поездке, оказывать ему всемерную поддержку» (ГММ).

В середине апреля Маяковский выехал через Ригу в Берлин и 19 апреля 1924 года прибыл туда, как он полагал, проездом в Америку. В ожидании визы он пробыл в столице Германии около двух недель. Однако переговоры о получении визы не дали положительных результатов, и Маяковский вернулся в Москву.

Результатом этой поездки явилось стихотворение «Два Берлина». Пребывание поэта и в Берлине в ожидании визы не было пассивным. Сохранились отзывы о его выступлении на вечере, устроенном германским отделением Всероссийского союза работников печати в большом зале Палаты Господ 29 апреля 1924 года, где он познакомил публику с новым течением в кругах московских пролетарских писателей и выступил с чтением своих стихов. «Леф по словам докладчика, отмежевался от самодовлеющего искусства, — сообщалось в газетном отчете. — Вместо сладких звуков и молитв он хочет идти об руку с мозолистыми руками рабочего, хочет укреплять в нем бодрость, веру в правоту Октября и сам старается слиться с созидающей работой, к которой зовет сегодняшний новый день России… Леф хочет быть громким эхом новых звуков, несущихся по русским просторам… Стихи Маяковского скованы из стали в горниле русской революции. Бодро и призывно звучат они, поднимают радостными криками упавший дух, улыбаются дружески солнцу, гимнами встречают крепнущую пролетарскую силу и сливаются в песнях со сплоченными рядами новых русских людей. Маяковский — большой талант, и его эволюцию от сданного им в архив желтокофточного футуризма к поэзии «Леф» никоим образом не поставишь ему в упрек» («Накануне», 4 мая 1924 г.).

Впечатления от пребывания в Берлине находят определенное отражение в многочисленных устных выступлениях поэта во время его поездок по городам страны летом 1924 года. Одновременно он продолжает хлопотать о новой зарубежной поездке, находя здесь, как и прежде, поддержку и полное взаимопонимание со стороны наркома просвещения А. В. Луначарского. Уже 27 мая 1924 года были заготовлены два письма наркома по поводу заграничной поездки Маяковского (хранятся в ЦГАЛИ). В одном из них А. В. Луначарский пишет:

«Настоящим Народный Комиссариат по просвещению РСФСР свидетельствует, что предъявитель сего В. Маяковский является одним из крупнейших и талантливейших поэтов современной России. За границу он едет исключительно с литературными и

художественными целями. Народный Комиссариат по просвещению убедительно просит все учреждения и лица, к которым обратится В. Маяковский, оказывать ему любезное содействие».

Командировка предполагалась длительной.

22 октября газета «Вечерняя Москва» сообщала о том, что «В. В. Маяковский в ближайшее время отправляется в кругосветное путешествие». 24 октября поэт выезжает из Москвы через Ригу и Берлин в Париж и 2 ноября прибывает во французскую столицу.

Путешествие Маяковского за океан, или так называемая кругосветка, не состоялось и на этот раз. В Париже потянулись однообразные дни ожидания американской визы. «Жду американской визы, — телеграфировал он 23 ноября в Москву. — Если не получу, через месяц или полтора вернусь в Москву» (ГММ). Поэт томился от бездеятельности и неопределенности положения. Собирался поездить по малым городам Франции, однако французские власти не дали ему такого разрешения. Легче стало с прибытием в Париж 4 декабря 1924 года первого посла СССР во Франции Л. Б. Красина. После падения в октябре 1924 года правительства Пуанкаре и прихода к власти правительства «левого блока» во главе с Эррио Франция заявила о признании СССР де-юре. 6 ноября состоялась официальная передача здания бывшего русского посольства в Париже советским представителям, а 14 декабря, после прибытия первого посла СССР, подъем советского флага на здании посольства. Маяковский присутствовал на этой церемонии и отразил это позже в стихотворении «Флаг».

И тем не менее виза не была дана. Около 20 декабря Маяковский выехал из Парижа в Берлин, а оттуда 25 декабря — в Ригу. Там сумел выступить в клубе полпредства СССР с чтением поэмы «Владимир Ильич Ленин», а 27 декабря уже вернулся в Москву.

Парижские впечатления выливаются в стихотворный цикл «Париж», который он создает в течение зимы и весны 1925 года. Пригодились его знания парижской публики и в ходе работы комитета по устройству советского павильона на Международной художественно-промышленной выставке в Париже, которая открывалась летом 1925 года. Маяковский привлекается к самой активной работе в комитете, возглавляет отдел рекламы. Это предопределяет и скорую поездку в Париж, на открытие выставки. Прояснилась и перспектива заокеанской поездки. 25 мая Маяковский вылетает из Москвы в Кенигсберг, оттуда выезжает в Берлин и 28 мая 1925 года прибывает в Париж.

В Париже Маяковский живет на этот раз более трех недель. При нем открывается Международная выставка (за рекламные плакаты с его текстами он награждается вскоре серебряной медалью выставки). Выступает он и с чтением своих стихов в советском полпредстве, печатает некоторые стихи парижского цикла в просоветской газете «Парижский вестник». Там же, в Париже, окончательно решается вопрос и о его заокеанской поездке: он получает визу на въезд в Мексику и приобретает заблаговременно билет на океанский лайнер. Там же, в Париже, за 10 дней до отплытия корабля его обокрал в гостинице какой-то крупный парижский вор, не оставив ему ни франка на всю поездку. Лишь благодаря помощи советского торгпредства, ссудившего его деньгами, эта заокеанская поездка не сорвалась опять. 21 июня 1925 года на трансатлантическом корабле «Эспань» Маяковский отбыл из порта Сент-Назер в Мексику.

На этом корабле Маяковский плыл 18 дней. Здесь им были написаны такие стихотворения, как «Испания», «6 монахинь», «Атлантический океан», «Мелкая философия на глубоких местах», «Блек энд уайт», «Христофор Колумб». 5 июля корабль прибыл в Гавану. Воспользовавшись суточной стоянкой, Маяковский ознакомился со столицей Кубы. 8 июля морское путешествие закончилось в мексиканском порту Вера-Круц, а на другой день Маяковский приехал поездом в Мехико-Сити и был тепло встречен как представителями советского полпредства, так и мексиканской общественностью во главе с художником Диего Ривейра. Все это тогда же, по свежим следам, нашло отражение и в очерковых зарисовках и набросках.

В Мексике поэт пробыл около 20 дней. За это время он познакомился с ее историей, культурой, обычаями и нравами, побывал в национальном музее, в театрах, кино, на корриде, увидел и оценил все своеобразие монументальной живописи Диего Ривейры, познакомился с местными поэтами, журналистами, деятелями рабочего движения — коммунистами. Ежедневно общался он с работниками посольства, которые не только

поселили его у себя на жительство, но и оказывали помощь в получении въездной визы в США.

В интервью, которое Маяковский сразу же по приезде дал местным журналистам, отмечалось: «Маяковский предполагает написать книгу о Мексике. Он сказал, что уже приступил к работе и предупредил нас, что книга будет лишена каких-либо политических тенденций, в ней будет говориться исключительно о традициях мексиканцев и что он постарается выразить в своих стихах национальный дух нашего народа» («Эксцельсиор», Мехико Сити, 1925, 10 июля). Свое слово он фактически сдержал. Кроме одного – отказа от тенденциозности. В своих стихах и очерках он рассказал советскому народу не только о прошлом Мексики, о традициях национальной культуры. Он показал Мексику богачей, которые оптом и в розницу распродают американцам и другим хищникам народное достояние, и Мексику бедняков во главе с коммунистами, жадно слушающую каждое слово о Советской России и готовую следовать ее путем. «Самая богатая страна мира, уже посаженная северо-американским империализмом на голодный паек» – так охарактеризовал Маяковский Мексику, рассказав предварительно о беззастенчивом хозяйничанье янки в этой чудесной стране. Рассказал Маяковский в своих стихах и очерках и о чехарде президентов, и о сказочном взяточничестве, и о «распродаже правительств», и о продажности вождей реформистских партий, с одной стороны, а с другой стороны – о народных восстаниях, о героизме коммунистов. Образ одного из таких самоотверженных борцов за лучшее будущее мексиканского народа, депутата-коммуниста Морено, и дан в очерке. Поэт приводит его слова после знакомства с «Левым маршем»: «Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр «кольта»).

Кольт загремел, но, к сожалению, не мореновский, а в Морено.

Уже находясь в Нью-Йорке, я прочел в газете, что товарищ Морено убит правительственными убийцами».

Образ этого мексиканского коммуниста сохранила нам и фотография: он стоит, обнявшись со своим новым другом из Советской России – Маяковским.

Во время пребывания в Мексике Маяковский находился в полном неведении о дальнейшем маршруте своего путешествия. Американское консульство не давало визы на въезд в США поэту из Советской России. С мертвой точки дело сдвинулось лишь тогда, когда Маяковскому удалось убедить консула, что он всего лишь рекламный работник Моссельпрома и Резинотреста. И тем не менее с визой продолжали тянуть. Маяковский уже обратился во французское консульство в Мексике с просьбой о визировании паспорта для возвращения во Францию, когда ему сообщили о разрешении на въезд в США. 27 июля 1925 года он приезжает в Ларедо (пограничный город Мексики и США), где после ряда новых злоключений ему выдается теперь уже окончательное разрешение на въезд от имени иммиграционного отдела департамента труда.

Маяковский находился в Соединенных Штатах Америки три месяца и побывал в ряде крупнейших городов страны. 30 июля он приехал в Нью-Йорк и пробыл здесь, выезжая лишь в пригороды, почти два месяца. Затем началась его поездка по стране: публичные выступления в разных городах; 29 сентября он выступает в Кливленде, 30 – в Детройте, 2 октября приезжает в Чикаго, где в тот же день состоялось первое его выступление в этом городе. 4 октября он уже выступает опять в Нью-Йорке, а 5 октября – в Филадельфии. Потом опять Нью-Йорк, затем – Питсбург и повторные выступления в Детройте (18 октября), в Чикаго (20 октября), в Филадельфии (23 октября). 28 октября 1925 года после седьмого, «прощального» выступления в Нью-Йорке (25 октября) и товарищеского ужина в честь советского гостя, устроенного американской писательской молодежью. Маяковский выезжает из Нью-Йорка на пароходе «Рошамбо» в Гавр (Франция).

Пребывание Маяковского в Америке – исключительно яркая страница в творческой и гражданской биографии поэта. Он раскрывается здесь во всем блеске своего таланта и как поэт социалистической революции, и как неутомимый пропагандист молодой советской литературы, революционного искусства, и как мудрый политический и государственный деятель, советский патриот и пропагандист советского образа жизни, идеалов коммунизма, достойно представлявший свою страну и свой народ в далекой заокеанской стране. В Соединенных Штатах Америки состоялись его публичные выступления в крупнейших залах Нью-Йорка и других городов страны,

многочисленные встречи с рабочей аудиторией, с партийными и профсоюзными организаторами, с литераторами и журналистами, с работниками искусств. Маяковский выступал с лекциями и докладами о советской литературе, живописи, искусстве, отвечал на многочисленные вопросы самого разного характера, читал свои стихи. В Соединенных Штатах в этот период им были написаны стихотворения «Бродвей», «Барышня и Вульворт», «Небоскреб в разрезе», «Порядочный гражданин», «Вызов», «100 %», «Американские русские», «Бруклинский мост», «Кемп «Нит гедайге».

Организацию всех своих выступлений в Соединенных Штатах Маяковский предоставил редакции коммунистической газеты «Новый мир», выходившей на русском языке. Половина всех денежных сборов от выступлений Маяковского шла в пользу этой газеты, здесь печатал он свои лучшие стихи, в том числе новые, написанные только что. Часть собранных от выступлений сумм он передавал и еврейской коммунистической газете «Фрейгайт», которая так же, как и «Новая жизнь», стала пропагандистом его поэзии и оказывала поэту всемерную помощь во время его поездок по стране и встреч с рабочей Америкой. (См. В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., ГИХЛ, 1956, стр. 249).

О содержании выступлений Маяковского в Америке, о той атмосфере, которая сопутствовала этим выступлениям и встречам, говорят многочисленные газетные отчеты и интервью американских газет.

Вот, например, как описывалось первое выступление Маяковского 14 августа в Нью-Йорке в помещении Сентрал Опера Хаус.

«…Тысячи искрящихся глаз устремлены на эстраду, заполненную представителями печати, пролетарских организаций. Ждут с затаенным дыханием «богатыря новейшей советской поэзии»…

Вот он, Маяковский! Так же прост и велик, как и сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко стриженная большая голова… Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают утихать, но вдруг — совершенно неожиданно — новый взрыв рукоплесканий, и вся публика вскакивает с своих мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками. Не видать конца овациям!..

…Зал замирает. Воцаряется полная тишина. И, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского. Так гремел голос пролетариата в Октябре 1917 года… В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире пролетарской Социалистической Республики» («Новый мир», Нью-Йорк, 1925, 18 августа).

«Первое блестящее выступление поэта пролетарской России Владимира Маяковского в Нью-Йорке явилось в полном смысле слова историческим в нашей русской колонии… Маяковский — живой свидетель великих исторических событий, потрясших мир. Он — поэт и певец этих событий» («Русский голос», 1925, 17 августа).

«Незабываемый вечер пережили революционные рабочие Нью-Йорка в последнюю пятницу в Сентрал Опера Хаус. Надолго останутся у них в памяти часы, которые они провели с Маяковским. Как зачарованные сидели три тысячи человек, находившиеся в зале и прислушивавшиеся к речи и к чтению стихов поэта…

В конце своей речи Маяковский заявил:

— Я — первый посланец новой страны. Америка отделена от России 9000 миль и огромным океаном. Океан можно переплыть за 5 дней. Но море лжи и клеветы, вырытое белогвардейцами, за короткий срок преодолеть нельзя. Придется работать долго и упорно, прежде чем могучая рука новой России сможет пожать могучую руку новой Америки!» («Фрейгайт», Нью-Йорк, 1925, 16 августа).

По многочисленным просьбам лиц, не имевших возможности попасть на это первое выступление советского поэта, через три недели в том же помещении организуется второе выступление Маяковского, в котором нашли отражение основные принципы советского искусства, откровеннее прозвучала социальная критика. Вот как отозвались на эту встречу Маяковского с нью-йоркцами те же газеты:

«Лекция тов. Маяковского была построена на пояснении трех основных принципов, характеризующих советскую поэзию и глубокой гранью отделяющих ее от поэзии буржуазных стран…

Советский поэт в своем творчестве стремится стать и становится лицом к лицу с рабочим. Он черпает свое вдохновение в каждодневном, но вместе с тем геройском, часто полном самоотречения и самопожертвования советском строительстве, в созидании новых, лучших форм социалистической жизни. Первая задача искусства – найти свое место в мире…

Второй тезис – искусство есть творчество сегодняшнего дня. Оно должно отражать в себе нужды, заботы, чаяния настоящего момента, не витать в небесах. Мещанство восстает против этого положения…

Каждый революционный поэт должен – и в этом заключается третий тезис – связать себя с классовой борьбой, честно и сознательно связать себя с чаяниями и стремлениями рабочего класса, бросить вызов буржуазии…

Искусство выражает интересы того или иного класса. Советские поэты вполне это сознают и в этом видят новые возможности. Они знают, что каждое стихотворение – «оружие не для отдыха, а для борьбы». Революционные советские поэты, освободившись от буржуазных пут, отвечают презрением на предложения о соглашательстве. Они знают, что единственное место, где гордый, уважающий себя художник не подвергается необходимости продавать свои достижения это – Советская Россия, страна «железной диктатуры пролетариата» («Новый мир», Нью-Йорк, 1925, 14 сентября).

«На этот раз вступление Маяковского к чтению стихов носило политически-литературный и полемический характер…

Вторая и третья части вечера были заполнены удачной, как всегда, декламацией Маяковским его старых и новых стихов. Отрывок из поэмы «Ленин» приковал всеобщее внимание. Поэт говорил о смерти Ленина, о роковом известии, когда не стало пролетарского вождя, и о похоронах. Двухтысячная масса была в буквальном смысле слова загипнотизирована. В заключение поэт отвечал на вопросы по запискам. Эти вопросы носили преимущественно политический, а не литературный характер» («Русский голос», Нью-Йорк, 1925, 12 сентября).

Первое выступление Маяковского в Детройте – «столице» автомобильного короля Форда – особенно перепугало русских белогвардейцев, которые в своей газете откликнулись на это следующими провокационными заметками:

«Вышло так, что вместо литературной лекции Маяковский пел хвалебные песни советской власти. Маяковский не представитель литературы, а советский агент.

…На банкете в честь поэта Маяковского Маяковский декламировал свои стихи, хвалил СССР и собирал деньги на газету «Новый мир» («Рассвет», 1925, 7 октября).

А вот как оценивала выступления Маяковского в Чикаго газета «Дейли уоркер» – орган Центрального Комитета Рабочей партии Америки, – издававшаяся в этом городе. В день приезда советского гостя она перепечатывает стихотворение Маяковского «Наш марш» и здесь же приветствует его приезд в Чикаго:

«Из далекой красной России, сквозь кордоны лжи и клеветы является к нам луч света из нового мира, строящегося под руководством компартии в Союзе Советских Социалистических Республик. Товарищ Владимир Маяковский приезжает сегодня в Чикаго.

– Добро пожаловать в наш город, товарищ Маяковский!» («Дейли уоркер», 1925, 2 октября).

Что же касается самого выступления Маяковского, состоявшегося в тот же день в самом крупном помещении города, куда набилось свыше полутора тысяч желающих «послушать знаменитого русского поэта Владимира Маяковского», то о нем газета сообщала в следующем номере:

«…Собрание было открыто «Интернационалом»… и после небольшого вступительного слова председателя выступил Маяковский. Сначала и до самого конца он держал

аудиторию под своим обаянием… Публика едва не сорвала крышу криками восторга от его стихов, посвященных Америке: «Открытие Америки», «Барышня и Вульворт», «Блек энд уайт». Пятьсот экземпляров его стихов были распроданы на месте» («Дейли уоркер», 1925, 5 октября).

Во второй свой приезд в Чикаго Маяковский, как сообщала та же коммунистическая газета, вызвал еще больший интерес публики. В своей «короткой, но острой речи» он дал прежде всего «крепкий отпор» белогвардейцам из местных русских контрреволюционных листков. Потом выступал с чтением стихов. «Прекрасная и сильная поэма о смерти Ленина произвела огромное впечатление на собравшихся. Остальные произведения также вызвали одобрение и аплодисменты. Маяковский отвечал на вопросы, а также собирал деньги на «Новый мир»…» («Дейли уоркер», Чикаго, 1925, 22 октября).

А вот что писала об этой лекции газета «Новый мир»:

«На второй лекции зал так же был переполнен публикой. И так же восторженно публика отнеслась к поэту. Рабочие почувствовали в нем своего человека.

— Это, брат, свой парень, — сказал один рабочий председателю после лекции. — Недаром местная шваль его ненавидит.

…Во время своего пребывания в Чикаго тов. Маяковский посетил самое святое место в Чикаго: могилу повешенных в 1887 году рабочих лидеров, погибших в борьбе за 8-часовой рабочий день…» («Новый мир», Нью-Йорк, 1925, 29 октября).

В одном из своих выступлений в Нью-Йорке, в лекции, названной «Что я повезу в СССР», Маяковский высказал свое отношение к капиталистической Америке, подверг уничтожающей критике восторженное восхваление Америки футуристами, само это течение. Вот как сообщалось в газетном отчете об этом выступлении Маяковского:

«Америка в воображении русского.

…На этот интересный вопрос Маяковский ответил в своей лекции в воскресенье, передав вкратце содержание своей поэмы «150 000 000»… Это, конечно, сатирическое преднамеренное преувеличение, поэтическая «работа красок» в отличие от «работы слова» в путеводителе. Однако же во всем этом скрывается идеализация усовершенствованной «бесконечной техники» Америки, представление ее в «головокружительном, карусельном масштабе…»

В восторженном восхвалении Америки футуризмом проявляется его коренная ошибка — восхваление техники как таковой, техники ради техники. Футуризм имел свое место и увековечил себя в истории литературы, но в Советской России он уже сыграл свою роль. Футуризм и советское строительство, заявляет Маяковский, не могут идти рядом. «Отныне, — говорит он, — я против футуризма, отныне я буду бороться с ним» («Новый мир», Нью-Йорк, 1925, 8 октября).

Характерно, что такое решительное заявление делается Маяковским именно в Америке, в процессе знакомства с этим капиталистическим «раем» и сопоставления его с советской действительностью.

За время пребывания в Соединенных Штатах Маяковский много работал и как поэт, и как пропагандист советской литературы и культуры, и как политический представитель Советского Союза. Он делал большое и нужное дело. До широкой публики доходили стихи поэта, из разных городов шли приглашения о публичных встречах. Но Маяковский рвется домой, на Родину. Он отказывается от настойчивых приглашений выступить с лекциями и чтением стихов в Сан-Франциско, от других предложений и сразу же по получении визы выезжает 28 октября 1925 года из Нью-Йорка на пароходе «Рошамбо» в Гавр, куда прибывает 5 ноября. На следующий день, 6 ноября, в самый канун Октябрьской годовщины друзья встречали его в Париже.

В Париже Маяковский пробыл недолго, проездом. 14 ноября он уже в Берлине, откуда через три дня выехал через Ригу в Москву, куда вернулся 22 ноября 1925 года. Поэт рвался домой. Длительное заграничное путешествие вызывало у него чувство глубокой тоски по Родине. Это чувство вылилось в стихотворение «Домой!», которое он начал писать еще на пароходе на пути из Америки в Европу.

Сохранился газетный отчет о выступлении Маяковского в Париже на вечере, устроенном 12 ноября 1925 года Объединением студентов СССР во Франции. Поэт выступал с докладом «Там и у нас» («Доклад об искусстве») и чтением стихов. «Поэт намеревался рассказать исключительно о своих эстетических восприятиях из вежливости к Франции, выдавшей ему визу и запрещающей говорить о политике, — сообщала позже, 2 декабря 1925 года, «Вечерняя Москва». — Но как-то получилось само собой, что вместо литературного доклада Маяковский сделал доклад «социально-экономическо-политический». Это «само собой» разумеющееся социально-политическое, партийное осмысление любого явления действительности как базисного, так и надстроечного порядка, характерное для всех его публичных выступлений, давало о себе знать и в Америке, сказалось оно и в Париже. Более подробно освещала это выступление Маяковского парижская газета:

«Кто не видел и не слышал Маяковского, должен пожалеть, что не попал на этот доклад. Трудно представить себе лучшего рассказчика для широких масс. Маяковский — создание новой России. В его могучей, широкой, подвижной фигуре, в его товарищеской фамильярности со слушателями, в его непринужденной манере, в его едкой иронии — во всем его существе сказывается нечто, что роднит его с русским рабочим, с человеком из народа. Когда… он рассказывал нам о своем путешествии в Мексику и Соединенные Штаты или когда, повысив свой мощный голос, он читал нам свои стихи, написанные под впечатлением виденного, невольно хотелось сказать: да, такими именно глазами смотрел бы на Америку русский рабочий… Слушая эти красочные рассказы, пересыпанные тонкими, меткими замечаниями, слушая эти звонкие стихи, с их часто неожиданными аккордами, дающими новый смысл всей картине, мы незаметно досидели до часу ночи. И хотелось еще и еще слушать этого мощного поэта. Не хотелось покидать этой прекрасной залы, этой оживленной, то серьезной, то улыбающейся аудитории» («Парижский вестник», 1925, 14 ноября).

Хорошо осознавал большое литературное и общественно-политическое значение своих выступлений за рубежом и сам Маяковский. В одном из интервью, данном в день приезда в Москву, он как бы сжато «отчитывается» перед советским читателем о командировке, делится ближайшими планами:

«…слухи о моих успехах в Америке нисколько не преувеличены. Я нахожу, что иметь аудиторию в полторы тысячи человек в течение ряда недель — это, конечно, успех. Думаю, что кроме литературного, мои лекции имели некоторое значение еще и в смысле революционном…

Для печати я привез книгу стихов о Мексике, об Испании и об Атлантическом океане. Есть у меня и новая книга о Соединенных Штатах» («Новая вечерняя газета», Ленинград, 1925, 23 ноября).

В последнем случае он имел в виду книгу очерков, которая после окончательного ее завершения получит наименование «Мое открытие Америки».

Маяковский начал работать над этими очерками и зарисовками непосредственно во время путешествия. После возвращения в Москву он уже 5 декабря заключил договор с Госиздатом об издании книги под названием «Поездка в Мексику и Америку», обязуясь при этом сдать рукопись в издательство через месяц, к 5 января 1926 года. Очевидно, что к этому времени книга вчерне была готова, что основные идеи этой книги, сложившиеся уже к началу пребывания поэта в США, получили свою реализацию.

Многие из этих идей найдут отражение в американских стихах Маяковского, воплотятся так или иначе в его очерках. Однако заметок, зарисовок и набросков, сделанных по самым свежим впечатлениям, оказывалось мало. Работа над книгой очерков продолжалась весь декабрь и закончилась лишь к 25 января, когда после отсрочки договорного срока на месяц рукопись была сдана в издательство. Тогда же, в январе и начале февраля 1926 года, отдельные части этой книги начинают печататься в периодических изданиях. Сама книга выйдет в свет лишь в августе 1926 года.

Все это время Маяковский живет впечатлениями американской поездки. И этими впечатлениями он стремился как можно скорее поделиться и в своих стихах, и в очерках, и в многочисленных устных выступлениях перед массовой, как правило, аудиторией, которым поэт придавал всегда, а теперь в особенности, большое значение.

Зарубежным впечатлениям посвящен был доклад Маяковского, состоявшийся в Доме печати 1 декабря 1925 года. Об этом вечере, о поэте, только что вернувшемся из поездки по Америке, о его «хороших стихах», которые были прочитаны «с большим подъемом», сообщали 3 декабря 1925 года «Известия». А через несколько дней, 6 декабря, состоялось выступление Маяковского в Политехническом музее. Его лекция, как сообщала пресса, «привлекла огромное количество слушателей. Даже имеющих билеты пропускали по очереди. Изнемогавшие милиционеры грозили вызвать конную милицию. В аудитории были заняты все места и кресла и на эстраде, и на ступеньках» («Новая вечерняя газета», Л., 1925, 9 декабря). Другие газеты отмечали, что поездка Маяковского за океан позволила ему еще ярче раскрыть «качества социолога, экономиста и политика» («Вечерняя Москва», 1925, 8 декабря).

Любопытны с точки зрения тематики выступления Маяковского на этом вечере, круг вопросов, которые он посчитал нужным осветить в своем рассказе о поездке, и афиша, подготовленная, очевидно, самим поэтом и содержащая краткие тезисы его выступления:

«Первый большой вечер возвратившегося из путешествия поэта Владимира Маяковского.

I. Доклад «Мое открытие Америки». Испания, Атлантический океан, Гавана, Вера-Круц, Мексика, Нью-Йорк, Чикаго, Париж.

Темы: Американцы ли американцы? Гавана, виски, сахар и сигары. Индейцы, гачупины и гринго. Тропический лес. Урожай фуража и президентов Бой быков. Странные министры. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ 33! Москва в Польше. Первое звездное знамя. От Ларедо до Нью-Йорка. По земле, под землей и по небу. Мораль и удочерение. Иллюстрация к Марксу. Одесса — отец. Змеиные яйца в Москве. Негры, джаз и чарльстон. Басни о Форде, Чикаго, 150 000 000 и бойни.

II. Мексика, стихи и поэмы. 1. Испания, 2. Христофор Колумб. 3. 6 монашек. 4. Черные и белые. 5. Мелкая философия на глубоких местах. 6. Индейская история.

Соединенные Штаты. 1. Бродвей. 2. Вульворт и барышня. 3. Кемп Нит гедайге. 4. Ол райт! 5. Их язык. 6. Небоскреб в разрезе. 7. Злоба. 8. Бруклинский мост.

По окончании ответ на записки».

Название доклада стало вскоре названием книги очерков, договор на издание которой заключен был днем раньше. В темах же, обозначенных в афише, отчетливо проступали идеи и темы как написанных к этому времени очерков о Мексике и Америке, так и тех, что находились в работе, вынашивались в так называемом «устном варианте». О широте замыслов поэта и публициста, стремившегося дать своему народу как можно более полный «отчет» о своей поездке за океан, можно судить и по сохранившимся афишам других его публичных выступлений этой поры.

Выступление Маяковского в Политехническом музее, состоявшееся 19 декабря 1925 года, отражало новые аспекты публицистического осмысления поэтом своих зарубежных впечатлений и наблюдений. По-новому формулируется доклад, иной поворот получают темы его:

Дирижер Трех Америк (США)

2-й большой вечер вернувшегося из путешествия поэта

Владимира Маяковского

I. Доклад. Дирижер Трех Америк (США): Бог доллар — доллар дух святой. Кино — Чаплин, золотая горячка, горничная в 15 тысяч в неделю. Нью-йоркский поэтический Конотоп. Фотомонтаж князя Бориса. Принцесса Сирилл. Змеиные яйца в Москве. Неподкупность продажных газет. Негритянский великий поэт А. С. Пушкин. Форд, как он есть. Американские рабкоры о Форде. Приключения мистера Браунинга. Какая Америка интересней — моя или всамделишная. Горький и Короленко об Америке и США.

II. Стихи и поэмы о Мексике, Америке, Ат-океане, Испании и Франции. 1. Статуя свободы. 2. Монтецума — Ястребиный коготь. 3. Сто этажей. 4. Маркита. 5.

Гав-ду-ю-ду. 6. Бой быков. 7. Бруклинский мост. 8. Париж. 9. Петров и Каплан. 10. Первое предостережение.

После доклада ответ на записки».

Новые и новые повороты в осмыслении американской тематики были характерны и для последующих публичных выступлений Маяковского. Маяковский едет по стране. Еще в начале января ему удается выехать на несколько дней в Ленинград. Комментируя его выступление в зале Академической филармонии с докладом «Мое открытие Америки», «Красная газета» писала: «Маяковский как бы умышленно игнорирует все то, что обычно поражало воображение предыдущих колумбов. Он остается равнодушен к американскому размаху и холоден к сногсшибательной экзотике… Большой и вполне заслуженный успех имели стихи, посвященные путешествию…» («Красная газета», веч. вып., 1926, 5 января). С таким же успехом проходили и его выступления в разных городах Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии, продолжавшиеся более месяца, с 25 января по 2 марта 1926 года.

Характерно, что его публичные выступления проходили при огромном стечении публики. В Киеве, например, более 5000 человек, забивших помещение цирка, на протяжении трех часов слушали поэта. В местных же газетах Харькова, Киева и других городов в день таких выступлений печатались или отдельные очерки из подготовленной книги «Мое открытие Америки», или стихотворения из американского цикла, подготовленные для другой книги.

О характере устных выступлений Маяковского хорошо сказал корреспондент ростовской газеты «Молот»:

«Это не была лекция, по крайней мере в том смысле, в каком привыкли мы понимать это слово. Скорей беседа поэта с публикой, — беседа, пересыпанная блестками неподражаемого (без кавычек) Маяковского остроумия. Об Америке т. Маяковский сказал не много, но немногое, сказанное им, давало большее представление о заатлантической стране, чем многословные речи патентованных лекторов» («Молот», Ростов н/Д. 1926, 9 февраля).

Так оценивался доклад «Мое открытие Америки». На другой день поэт встречается с местными рабкорами и пролетарскими писателями. Затем опять выступает перед огромной аудиторией с докладом «Нью-Йорк и Париж». И в том, и в другом, и в третьем случае в центре внимания продолжает оставаться американская тематика. Так было в Ростове, Киеве и Харькове. Так будет в Баку, где за пять дней Маяковский выступит семь раз перед разными аудиториями. Здесь же он сумеет осмотреть строительство новых нефтяных промыслов и продумать очерк под характерным названием «Америка в Баку». В Тифлисе (Тбилиси), помимо традиционных докладов и встреч, Маяковский даст корреспонденту «Зари Востока» интервью «Литературная и культурная жизнь Америки». Американская тема продолжает оставаться главной и во время летней поездки Маяковского по южным городам страны (Одесса — Крым). Его лекции-беседы встречают самый горячий отклик в сердцах слушателей, сопровождаются восторженными откликами местной прессы: «В его наблюдениях над жизнью и социальными условиями в Соединенных Штатах и в Мексике столько нового и оригинального, что он действительно вновь «открывает» для слушателей Америку» («Известия», веч. вып., Одесса, 1926, 24 июня).

В своих американских очерках Маяковский правдиво и ярко рассказал советскому читателю о Мексике и Америке, о жизни и борьбе простого народа этих стран, о господстве капитала. Поэт приветствует лучшие достижения технического прогресса Америки, делится своими соображениями о том, чему можно и надо поучиться у американцев советским людям, строящим социализм. Однако эти мысли и соображения не имеют ничего общего с апологетикой американского образа жизни, слепого преклонения перед американской техникой. Он постоянно видит две Америки: к одной, трудовой и честной Америке, он относится с большой любовью и сочувствием, о другой, капиталистической Америке, ее хозяевах и «героях», о власти доллара, о морали и нравах, воспитываемых жаждой наживы, чистогана и делячества, Маяковский рассказывает с убийственной иронией человека, прекрасно осознающего все превосходство советских людей и своей страны, уверенно строящей социализм, надо всем этим миром, обреченным ходом истории на неизбежную гибель.

Более полувека прошло со времени написания этих очерков. Но они по-прежнему не утрачивают своей публицистической остроты, актуальности и злободневности, удивляют глубиной проникновения их автора в самое «нутро» капиталистического

мира, пророческими предвидениями грандиозных преобразований в своей стране, учат советских людей любви к своей Родине, советскому патриотизму.

Америка. Впервые – журн. «Экран», М., 1925, № 36, декабрь.

Первый из опубликованных Маяковским очерков о его поездке в Мексику и Соединенные Штаты Америки. Написан был, очевидно, в дороге, так как уже в начале декабря передан для публикации в предпоследнем декабрьском номере журнала. Позже использован в дополненном виде в книге очерков «Мое открытие Америки».

…имена их древних властителей – Монтецумы и Гватемозина – Монтесума II (род. ок. 1466–1520) – царь ацтеков в 1503–1520 годах. Гватемок (1497–1525) – последний царь ацтеков (1520–1521). Ацтеки – один из крупнейших индейских народов Мексики, игравший ведущую роль в союзе других индейских племен, затем подчинил себе Центральную Мексику до Мексиканского залива и Тихого океана и образовал раннее мексиканское государство, дальнейшее развитие которого оборвалось с испанскими завоеваниями ацтеков в 1519–1521 годах.

Чапультепек – сад в Мехико, где расположен президентский дворец.

…бывший великий князь Борис… – Борис Владимирович Романов (1887–?) он же – «принц» Борис – брат Кирилла Владимировича Романова (1876–1938), который после казни Николая II выступал, как великий князь, одним из «претендентов» на русский престол.

…а «императрица всероссийская»… – жена Кирилла Романова – Виктория Федоровна Романова (1876–1936).

Мое открытие Америки. Отдельное издание – ГИЗ, М., 1926 (вышло в августе); иллюстрировано фотографиями, привезенными Маяковским из Мексики: 1. В кактусах. 2. Диего Ривера – Обучение под охраной вооруженного народа (репродукция). 3. Памятник Сервантесу в Мехико. 4. Товарищ Морено. 5. Пейзаж Мексики. 6. Бок Нью-Йорка. 7. Бок Питсбурга. 8. Угол бойни. 9. Чикаго. Общий вид Арморовских боен.

Отдельные части книги и очерки, вошедшие в нее, были опубликованы до этого в периодике.

Очерк «Моя встреча с Диего де Ривера» был опубликован в журнале («Красная нива», М., 1926, № 6, 7 февраля) вместе со статьей Я. Т. (Тугендхольда) «Диего де Ривера, художник мексиканского пролетариата» и иллюстрациями репродукций с фресок, выполненных де Ривера на здании Министерства просвещения Мексики: 1. Литье. 2. Завод. 3. Похороны рабочего. 4. Сбор плодов. 5. Вождь мексиканского аграрного движения, убитый в 1916 году. Репродукции были подарены художником Маяковскому во время пребывания поэта в Мехико.

На основе последней части книги Маяковский написал позднее два самостоятельных очерка: «Американское кое-что» и «Свинобой мира».

Отдельные очерки книги были начаты и, очевидно, написаны еще во время путешествия. 25 января 1926 года рукопись была сдана в издательство.

Мне необходимо ездить. – В одном из выступлений в Казани 21 января 1927 года Маяковский скажет: «Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада. Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, следовательно, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны» («Красная Татария», Казань, 1927, 26 января).

«В Марокко все спокойно». – Это ирония Маяковского над лживой информацией о восстании против испано-французских колонизаторов, происходившем в Марокко в 1925 году.

Ремингтон – система пишущей машинки.

Маджонг – китайская игра, напоминающая домино; тотализатор – игра на деньги на конных состязаниях.

Плевна (Плевен) – город в Болгарии; во время войны 1877–1878 годов битва за Плевну стала образцом воинского искусства и доблести русской армии.

Лимитед (англ.) – разновидность капиталистического треста.

…десятиэтажный Форд, Клей и Бок… – представительства крупнейших капиталистических фирм США в Гаване.

Прадо – главная улица Гаваны.

Ведадо – загородный квартал богачей.

Коларио – гаванские цветы.

…кладбище бесчисленных Гомецов и Лопецое. – Гомец и Лопец (или Гомес и Лопес) – широко распространенные в Мексике фамилии.

Кин сав – неточно переданное испанское выражение «Quien sabe» (Кто знает).

Диего де-Ривера встретил меня на вокзале. – Диего Ривера (1886–1957) – выдающийся мексиканский художник-монументалист. О подробностях этой встречи сообщалось в местной печати. «Утром, когда он приехал из Вера-Круц в Мехико-Сити, его встречали на вокзале известный мексиканский художник Диего Ривера со своей помощницей – Анайей. Еще в порту ему посоветовали купить билет в международный вагон. Он купил. Анайя, от наблюдательного взгляда которой ничто не может укрыться, воскликнула, когда Маяковский вышел из вагона:

– Смотрите, дон Диего, смотрите! У него билет в международный вагон, а он выходит из вагона второго класса.

Мне нечего объяснять, как это характеризует этого человека.

Художник сказал: «Если Маяковский будет путешествовать по Мексике, то он поедет только во втором классе, чтобы увидеть нас такими, какие мы есть…» («Анторча», Мехико-Сити, 1925, июль).

Хулио Хуренито – герой романа И. Г. Эренбурга «Необычные похождения Хулио Хуренито…» (1922).

…двумордых идолов ветра… – индейские боги ветра, изображаемые с двумя лицами.

Рейес, Альфонсо (1889–1959) – мексиканский писатель и политический деятель.

…корабли генерала Эрнандо Кортеса… – см. очерк Маяковского «Мексика».

Кайес, Плутарко Эльяс (1877–1945) – президент Мексики в 1924–1928 годах.

Гвадалахара – город на юго-востоке Мексики.

Герреро, Хавьер – мексиканский художник и журналист индейского происхождения.

Крус (Гутьеррес Крус), Карлос (1897–1930) – мексиканский поэт.

…делегат Крестинтерна товарищ Гальван. – Крестинтерн – сокращенное название Крестьянского Интернационала – международной организации, официально именовавшейся Международный крестьянский совет. Создан был осенью 1923 года представителями различных заграничных крестьянских партий, приехавшими в Москву на сельскохозяйственную выставку и устроившими первую Международную крестьянскую конференцию. Объединял ряд крестьянских организаций Европы, Азии и Америки. Гальван, Мануэль Эрнандо был делегатом Мексики на первом конгрессе Крестинтерна в Москве (октябрь 1923 года).

Вапповцы (от слова ВАПП) и мапповцы (от слова МАПП) – члены Всесоюзной и Московской ассоциаций пролетарских писателей.

Верже – дорогой сорт бумаги.

«Батаклан» (франц.) – здесь: низкосортное варьете.

…осматривать… торо… – торо… (исп.) – бык. Далее торо употребляется в смысле: арена для боя быков.

…король Альфонс испанский… – Альфонс XIII, царствовавший в 1902–1931 годах.

Диэц (точнее, Диас), Порфирио – президент Мексики в 1877–1880 И 1884–1911 годах.

…недолгого царя Итурбиды… – Итурбиде, Агустин (1783–1824) – реакционный политический деятель Мексики. Объявил себя императором в 1822 году; спустя год был свергнут и расстрелян.

…площадь Сокола… – точнее площадь Cóкало (от испанского zocôlo – цоколь, пьедестал). На этой площади в течение долгого времени оставался пьедестал разрушенного народом памятника испанскому королю Карлу IV.

Куки – здесь: справочники туристской конторы Кука.

Сухаревка – Сухаревский рынок, существовавший до 15 декабря 1920 года в Москве.

12 сантимов (точнее: сентаво) – мелкая монета в Мексике.

«Пулькерии» – производное от «пульке» – полуводка.

Сарапе – старинная национальная верхняя одежда мексиканцев.

Генерал Боливар, Симон (1783–1830) – руководитель национально-освободительного восстания против испанской власти в Южной Америке. Победа восстания привела к образованию нескольких самостоятельных республик, одна из которых названа была в честь Боливара – Боливией.

Ястребиный Коготь – одно из романтических прозвищ героев рассказа А. П. Чехова «Мальчики» – гимназистов, увлекающихся «индейскими» приключенческими романами.

Волстрит (точнее Уолл-стрит) – улица в Нью-Йорке, расположенная в южной части Манхеттена, где размещены правления крупнейших банковских домов. Является синонимом монополистического капитала США.

…нашего грузового полка. – Полок – телега для перевозки крупногабаритных грузов.

…праздник 14 июля… – французский национальный праздник – день взятия народом тюрьмы Бастилии в 1789 году.

Гомперс, Сэмюэл (1850–1924) – реакционный деятель американских профсоюзов, был с 1882 по 1924 год председателем Американской федерации труда.

Моронес, Луис (1890–?) – мексиканский политический деятель реформистского лагеря.

Товарищ Карйо, Рафаэль (р. 1903) – мексиканский коммунист.

Герреро – см. примечание выше.

Товарищ Морено (убит в 1925 г.) – мексиканский коммунист.

Товарищ Монсон, Луис (1872–1942) – мексиканский коммунист.

Ларедо – город на границе Мексики и США; пограничная река делит его на две части – мексиканскую и американскую. Здесь, при въезде в США, Маяковский провел несколько часов в «комнате с решетками».

500 мексиканских нищих племен… – Здесь и дальше Маяковский приводит отрывки из своего стихотворения «Мексика».

Хайкис – секретарь советского полпредства в Мексике в 1925 году, с которым Маяковский собирался выехать во внутренние районы Мексики.

Одоль – марка зубного порошка.

Сан-Антонио – город на юге США.

Шенандоу – крупный американский дирижабль, потерпевший катастрофу 3 сентября 1925 года.

Сан-Луис – город в США, на берегу реки Миссисипи.

Техас – один из южных штатов США.

…из тихой русской Канады… – В Канаде проживало много выходцев из России.

В одном из фельетонов «Правды»… – Очевидно, имеются в виду путевые заметки И. Поморского «Как мы приехали в Нью-Йорк» («Правда», М., 1925, 10 сентября).

…лежащим чуть не с войны за освобождение. – Имеется в виду война за независимость США от Англии (1775–1783).

Элевейтер – воздушная городская железная дорога.

Ай-добль-добль-ю – сокращенное название профессиональной организации «Индустриальные рабочие мира» – I. W. W. (Industrial Workers of the World).

…генерала – усмирителя Ирландии… – В 1816 году в Ирландии вспыхнуло восстание, жестоко подавленное английскими войсками.

Голдапы – от амер. «hold up» – грабить.

Собвей – метро.

Генерал Грант, Улисс Симпсон (1822–1885) – национальный герой США. Командовал войсками северян во время гражданской войны 1861–1865 годов; позднее – президент США (1869–1877).

Чуингам – жевательная резинка.

Кулидж, Калвин (1872–1933) – президент США (1923–1929).

Канализационные акции – акции компаний, владеющих канализационной сетью.

Демос (греч.) – здесь то же, что плебс, то есть народ.

Мисс Вандербильд – представительница семьи американских миллиардеров.

«Аттабой» – от английского выражения «That’s a boy» («Вот это парень!»).

Бычок – здесь; изображение на долларе.

Линкольн, Авраам (1809–1865) – выдающийся государственный деятель, президент США в 1861–1865 годах. Его портрет изображен на долларе. Линкольн родился в семье мелкого фермера, долгое время добывал себе хлеб физическим трудом.

…с пакеновскими моделями и анановскими туфлями… – Пакен и Анан – владельцы роскошных ателье одежды и обуви в Париже.

Обезьяний процесс. – Это название получил сфабрикованный в 1925 году реакционерами судебный процесс против американского учителя Скопса, который пытался ввести преподавание основ дарвинизма в школе.

«Бутлегер» – торговец спиртом.

…ночи осени 1920–1921 года… – полоса особенно острого кризиса, который переживала промышленность США.

Саклатвала, Шапурджи (1874–1936) – индиец, член ЦК Английской коммунистической партии, депутат парламента.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко… – Короленко посетил США в 1893 году. Маяковский передает здесь по памяти описание Нью-Йорка из повести «Без языка».

Лет пятнадцать назад Максим Горький… – М. Горький был в США в 1906 году. Здесь имеется в виду его памфлет «Город Желтого Дьявола».

…дело Ванцетти… – Американские революционные рабочие Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти были в 1921 году по ложному обвинению в убийстве приговорены американским судом к смертной казни. Протест мировой общественности смог лишь отодвинуть сроки исполнения приговора: в 1927 году после длительного тюремного заключения мужественные рабочие были казнены.

Ку-Клукс-Клан – организация американских фашистов (примечание Маяковского в отдельном издании).

Вельком (англ.) – добро пожаловать.

Сто тысяч масонов… – Масонство – религиозно-этическое течение, возникшее в начале XVIII века в Англии, а затем распространившееся в других странах и ставшее тайной международной организацией. Организационная форма масонства была заимствована из обихода средневековых цеховых объединений каменщиков (отсюда название: масоны, франкмасоны, «вольные каменщики», таинственность и мистическая обрядность, само понятие «ложа» как место собрания, ячейка организации). Масонские ложи объединяли главным образом представителей привилегированной верхушки общества. Призывы масонов к объединению всех людей на началах братской любви, равенства, верности и взаимопомощи с целью искоренения пороков общества путем самопознания и самосовершенствования людей в условиях антагонистического общества содействовали укреплению эксплуататорского строя, отвлекали трудящиеся массы от революционной борьбы. Враждебны были интересам трудящихся и новые, более рафинированные формы религиозных суеверий, мистика, магия. В начале XX века масонство являлось одним из реакционнейших движений в капиталистических странах. Наибольшее распространение оно получило в США, где находится также и организационный центр масонства.

Шавли (Шауляй) – местечко в бывшей Ковенской губернии России, ныне – город в Литовской ССР.

Язык Вавилонского столпотворения… – По библейской легенде, бог, разгневанный дерзким замыслом вавилонян возвести башню (столп) высотой до неба, «смешал языки», и строители перестали понимать друг друга.

О’Генри (псевдоним Портера Уильяма Сидни, 1862–1910) – американский писатель.

Ник Картер – персонаж детективной литературы, ловкий сыщик.

Кулешов, Лев Владимирович (1899–1970) – советский кинорежиссер. Под «клетчатыми ковбоями» киностудии Кулешова Маяковский имеет в виду киноартистов, снимающихся в его фильмах, пародирующих американские ковбойские боевики.

Александр Дюма – французские писатели – Дюма-отец (1802–1870) – автор увлекательных приключенческих романов на исторические и современные темы; Дюма-сын (1824–1895) – автор романа «Дама с камелиями» и др. Дед Дюма-отца, маркиз Дави де ля Пайетри, был богатым колониальным помещиком, женившимся на своей рабыне-негритянке.

Людовики – имя восемнадцати французских королей.

Карнеги, Эндрью (1835–1919) – американский миллиардер. «Институт Карнеги», находящийся в Питсбурге (США), – научно-учебное учреждение на базе обширного музея.

Карл Сандбург (или Сандберг) – выдающийся демократический поэт США (1878–1967). Продолжая поэтические традиции У. Уитмена, внес значительный вклад в становление американской революционной поэзии 20–30-х годов. Маяковский подчеркивает социальную значимость его поэзии и цитирует его стихи, в данном случае почти полностью приводит стихотворение «Чикаго».

…его однофамилец Вудро. – Имеется в виду Вудро Вильсон, президент США в 1913–1921 годах.

«Daily Worker» («Дейли Уоркер») – ежедневная прогрессивная газета, основанная в Чикаго в январе 1924 года. С 1927 года издавалась в Нью-Йорке на добровольные взносы читателей. Вела последовательную борьбу против американской финансовой олигархии, за жизненные интересы и права трудящихся.

Келлог, Франк (1856–1937) – американский политический деятель.

…в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров. – Маяковский рассказывает о революционной борьбе американских рабочих в мае 1886 года, о кровавой бойне, спровоцированной полицией 4 мая в ходе митинга-протеста, о расправе над арестованными рабочими лидерами – организаторами этого митинга и мощной демонстрации под лозунгом борьбы за 8-часовой рабочий день, проведенной 1 мая 1886 года в Чикаго. Борьба рабочих Чикаго была поддержана всей рабочей Америкой и международным рабочим движением. По решению I конгресса II Интернационала (1889) 1 мая был объявлен Днем международной солидарности пролетариата и борьбы рабочих во всем мире за 8-часовой рабочий день.

Во время своего пребывания в Чикаго Маяковский посетил самое святое место города – могилу казненных революционеров.

Детройт – один из крупнейших городов США, «царство Форда». Маяковский побывал здесь дважды: 30 сентября – 2 октября и 18–19 октября.

Пресловутая Кирилица, «принц» Борис – см. примечание к очерку «Америка».

Родченко, Александр Михайлович (1891–1956) – советский художник, мастер фотомонтажа, работал вместе с Маяковским над рекламными плакатами.

Форд, Генри (1863–1947) – владелец американской автомобильной фирмы «Форд мотор К°». Его книга «Моя работа и жизнь», о которой идет речь дальше, была издана в Петрограде в 1923 году, а в дальнейшем выдержала еще несколько изданий. Маяковский иронизирует над апологетами «фордизма», раскрывает в своем очерке картину бесчеловечной эксплуатации рабочих на заводах Форда.

Замахнулась… американская баба-свобода… – Имеется в виду гигантская статуя женщины с факелом в поднятой руке, олицетворяющая свободу. Статуя стоит на небольшом островке Бедлоу при въезде в нью-йоркский порт. Рядом, на острове Элис-Айланд, находится пункт проверки лиц, въезжающих в США. Элис-Айланд известен под названием «Остров слез».

Лига наций – международная организация, созданная после первой мировой войны державами-победительницами в целях якобы предотвращения новой мировой войны, а на деле в качестве центра борьбы с мировым революционным движением и в первую очередь борьбы против Советского государства. Аппарат Лиги наций находился в Женеве.

Регардэ (франц.) – смотрите.

Фордзоны (англ.) – так назывались тракторы американской фирмы «Форд и сын» («Ford and son»).

Амторг – акционерное общество, осуществлявшее в то время торговые операции между СССР и США.

Бусы – автобусы.

Депортация – высылка из страны. Широко применялась в США для борьбы с прогрессивными деятелями.

Руан – город на севере Франции.

Мексика. Впервые – журн. «Огонек», М., 1926, № 1, 3 января. Напечатано в качестве предисловия к стихотворению «Мексика», опубликованному в этом же номере журнала. Иллюстрировано фотографиями, привезенными Маяковским из Мексики: 1. Американский флаг, вывешиваемый в Мексике на доме неплательщика за квартиру («американский», очевидно, напечатано ошибочно – см. текст очерка); 2. Бой быков в Мехико; 3. Мексиканский коммунист Морено с Вл. Маяковским; 4. Тов. Карио, мексиканский коммунист; 5. Мексиканский пейзаж; 6. Памятник Сервантесу в Чапультапеке (Мехико).

Написан, очевидно, еще во время зарубежной поездки или сразу же по возвращении в Москву, в декабре 1925 года. Тогда же более подробный рассказ о Мексике был сделан к первой части книги «Мое открытие Америки», подготовленной для публикации в январской книжке «Красной нови» за 1926 год.

Американское кое-что. Впервые – журн. «Красная нива». М., 1926, № 10, 7 марта. Напечатано вместе с фотографией: «Вл. Маяковский на одной из улиц Нью-Йорка».

Написан, очевидно, специально для еженедельника в феврале 1926 года и представляет сокращенный вариант третьей части книги «Мое открытие Америки», которая опубликована была в февральской книжке журнала «Красная новь» за 1926 год. Перепечатка этого очерка в еженедельном массовом приложении в газете «Известия» не только свидетельствовала об особом интересе советской общественности к американским очеркам Маяковского, но и неизмеримо расширяла

читательскую аудиторию.

Свинобой мира. Впервые – журн. «Огонек», М., 1926, № 11, 14 марта.

Написан, очевидно, в самом начале марта 1926 года, сразу же по возвращении в Москву после лекционной поездки по городам Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии. Представляет сокращенную переработку очерка «Чикаго» из книги «Мое открытие Америки». Как и в предшествующем случае, Маяковский стремится поделиться своими впечатлениями о поездке в Америку с читателями самых популярных массовых журналов, идет при этом на перепечатку своих очерков из менее общедоступных изданий («Красная новь»).

«ЕЗДИЛ Я ТАК». «НЕМНОГО О ЧЕХЕ». «ЧЕШСКИЙ ПИОНЕР». «НАРУЖНОСТЬ ВАРШАВЫ». «ПОВЕРХ ВАРШАВЫ».
В начале 1927 года возникает идея новой поездки Маяковского за рубеж, на этот раз в Польшу, Чехословакию, Германию и Францию. Инициатива этой поездки принадлежит ВОКСу. Именно эта организация хлопочет о предоставлении Маяковскому заграничного паспорта для поездки.

Вопрос о поездке окончательно решается к середине апреля. 15 апреля 1927 года Маяковский выезжает из Москвы за границу, по пути в Чехословакию останавливается на сутки в Варшаве, а 18 апреля прибывает в Прагу. Здесь он пробудет менее двух недель: 27 апреля уже выезжает в Берлин и, не задерживаясь там, прибывает 29 апреля в Париж. Через десять дней он на обратном пути задерживается два дня в Берлине, приезжает 12 мая в Варшаву, а через десять дней, 22 мая, возвращается в Москву.

В Берлине и Париже Маяковский был уже не первый раз и в свое время делился своими впечатлениями о пребывании в них с советской публикой как в стихах, так и в очерках. Может быть, поэтому теперь немецкая и французская тема не находит сколько-нибудь широкого отражения в его художественно-публицистическом творчестве ни во время самой поездки, ни после возвращения в Москву. А между тем в Париже он выступает в полпредстве и на вечере, организованном советскими студентами, обучающимися во Франции, присутствует на обеде, устроенном в его честь французскими писателями, и т. п. В Берлине в честь Маяковского устраивает «чай» Общество советско-германского сближения, пригласившее немецких писателей, ученых, журналистов. В тот же день поэт выступает в клубе полпредства и торгпредства в Берлине перед «своими». Об этом Маяковский сообщает советскому читателю в очерках, написанных вскоре после возвращения в Москву, прежде всего в первом из них, названном «Ездил я так». Однако уже здесь поэт больше говорит о своих пражских и варшавских впечатлениях. Более подробно он расскажет тогда же о своем пребывании в Праге в очерках «Немного о чехе» и «Чешский пионер», а о десяти днях, проведенных в Варшаве, в очерках «Наружность Варшавы» и «Поверх Варшавы». С этими очерками будут перекликаться его стихи «Славянский вопрос-то решается просто», «Польша» и «Чугунные штаны», которые публиковались поэтом в печати рядом с тем или иным из названных выше очерков.

Ездил я так. Впервые – журн. «Новый Леф», М. 1927, № 5.

Написано, очевидно, в конце мая 1927 года, сразу же после возвращения в Москву. (Номер журнала вышел в свет в середине июля.)

Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867–1942) – русский поэт-декадент, после Октябрьской революции – эмигрант. Сонет Бальмонта, посвященный Маяковскому, написан был на вечере «Встреча двух поколений поэтов» в январе 1918 года, где Маяковский прочел поэму «Человек».

Броневский, Владислав (1897–1962) – известный польский поэт, критик и журналист, один из зачинателей польской пролетарской поэзии.

Жарновер, Тереза (1899–1948) – польская художница.

Ставер (Ставар), Анджей (псевдоним Эрварда Януса) (1900–1961) – польский литературный критик и переводчик, в начале литературной деятельности, в середине 20-х годов, сотрудничал в польской коммунистической печати: «Новая культура», «Рычаг», «Литературный ежемесячник».

Якобсон, Роман Осипович (р. 1896) – в 1921 году в составе постпредства РСФСР выехал в Прагу, в дальнейшем в СССР не вернулся, ученый, филолог. С 1941 года живет в США.

«Деветсил» – объединение молодых писателей и художников, сложившееся в начале 1920-х годов вокруг образованной в 1921 году Коммунистической партии Чехословакии. В середине 20-х годов «Деветсил» отказался от программы пролетарской поэзии и выдвинул авангардистскую концепцию так называемого «поэтизма». Однако вопреки декларациям сторонников этой концепции отдельные произведения поэтистов продолжали прежнюю традицию.

Гора, Йосеф (1891–1945) – чешский поэт и публицист. Одним из первых пропагандировал в Чехословакии принципы социалистического искусства, член Коммунистической партии Чехословакии с момента ее создания, входил в первую редакцию газеты «Руде право» (орган компартии).

Сейферт, Ярослав (р. 1901) – чешский поэт, один из основоположников чешской пролетарской поэзии.

Махен (Маген), Иржи (1882–1939) – чешский писатель и драматург, входивший в группу «Деветсил».

Библ, Константин (1898–1951) – чешский поэт, вступил в литературу в начале 20-х годов как представитель молодого поколения чешской революционной литературы.

Незвал, Витезслав (1900–1958) – крупный чешский прогрессивный писатель.

Крейцер, Яромир (род. 1895) – чешский архитектор, входивший в организацию «Деветсил».

В театре левых «Освобозене Дивадло»… я выступил… – В Освобожденном театре Праги Маяковский выступил 21 или 22 апреля. Это было первое публичное выступление поэта в чехословацкой столице. Он выступил после В. Незвала, который открыл «маленькое обозрение» декламацией стихов и прозы Бодлера. «После тоскливого и меланхолического обращения Витеслава Незвала к облаку загремел живой призыв Маяковского к народу. Вместо смолкшей жалобы и пустой печали мы услышали приказ к непосредственному действию» (Й. Гонзал. «Маяковский в Деветсиле», журн. «Новый живот», Прага, 1950, № 1/2).

…синеблузные вещи… – Маяковский имеет в виду своеобразный, публицистически заостренный и злободневный репертуар самодеятельных и профессиональных эстрадных коллективов, носивших название «Синяя блуза» (по названию синих рабочих блуз, в которых выступали участники этих коллективов). Синеблузники продолжали лучшие традиции «живых газет» времен гражданской войны и интервенции, способствовали формированию подлинно народного и массового советского театрального искусства, пользовались большой популярностью в нашей стране в 20-е годы.

«атташе интеллектюэль» – ироническое название журналистов.

Большой вечер в «Виноградском народном доме». – Маяковский выступал здесь 26 апреля. Вечер открылся вступительным словом поэта Йосефа Гора. Выступление Маяковского было тепло принято многочисленной публикой и вызвало широкий отклик в печати. Вот некоторые отзывы:

«Маяковский отверг в самом начале своей лекции механическое деление молодого русского поэтического поколения на ранги… Писатель, поэт является сегодня в России борцом за новый общественный строй, за новые формы жизни. Все большее количество писателей приходит в литературу из рядов пролетариата, существует целая многотысячная организация пролетарских писателей, и многие из этих писателей знаменуют собой будущее русской литературы… Другим фактом, характеризующим русскую литературу, является то несомненное обстоятельство, что массы читают стихи, как нигде в мире. Произведения Д. Бедного уже вышли тиражом в 2 миллиона экземпляров, а его, Маяковского, – в 1 200 000 экз…

Маяковский явно захватил аудиторию, переполнившую зал, своим ясным, звучным голосом, свободно переходившим из одной тональности в другую – от декламационного пафоса к тонкой сатире, своим пышущим здоровым оптимизмом человека, совершившего революцию… Его остро отточенные поэтические эпиграммы, полные революционной ударности и мужественного настроения, не раз и не два сопровождались бурными аплодисментами. Право, нужно было самому услышать ошеломляющее декламационное мастерство Маяковского, дающее нам истинный ключ к пониманию его гениального риторического поэтического творчества, чтобы понять всю силу той популярности, которой он пользуется у себя дома. Издатель, продававший в коридоре «150 000 000» Маяковского в переводе Матезиуса, в два счета распродал все экземпляры, и поэт был осажден просьбами об автографах.

Вечер Маяковского, на который пришли рабочие, так же как и интеллигенция, советские русские и эмигранты, показал, что чешско-русские связи настолько живы, что только упрямый недруг может их не заметить и не сделать из них тот вывод, что, кроме дипломатических, можно еще крепить и все другие отношения между СССР и ЧСР» («Руде право», Прага, 1927, 28 апреля).

«…это настоящий митинговый оратор, в полной мере овладевший искусством вести за собой массы.

Но не только в этом познается вождь левого фронта современной русской литературы. Мы познаем его также через ту агитационную литературу, которую он создает, которая является оружием революции и обращается к миллионам трудового народа… Те образцы своего творчества, которые он читал нам и в которых описывается его путешествие вокруг света, по большей части сатирически заострены и полны своеобразных захватывающих впечатлений.

Везде, где бы он ни побывал, в Париже или в Испании, на море, или в Америке, – он выступает как преисполненный чувства собственного достоинства гражданин Советской России, понимающий, от чьего имени он говорит и к кому обращается» («Чехословацкая республика», Прага, 1927, 28 апреля).

«Литературный вечер превратился в манифестацию дружеских чувств чехов к Советскому Союзу. Маяковский обворожил чехов и в личном общении. В течение всего своего пребывания в Праге он был окружен молодыми чешскими поэтами и писателями, которые стали навсегда его верными друзьями» (З. Неедлы. «Из истории связей советской и чехословацкой литературы», журн. «Новый мир», 1945, № 2/3).

Матезиус, Богумил (1888–1952) – чешский писатель, переводчик.

Тагор, Рабиндранат (1861–1941) – великий индийский поэт, романист и драматург.

Милюков П. Н. (1859–1943) – лидер кадетской партии, во Временном правительстве первого состава – министр иностранных дел, после октября 1917 года белоэмигрант.

…отзывы о вечере по якобсоновскому письму… – Письмо Р. Якобсона (см. примечание выше) с отзывами чехословацкой печати о вечере в Виноградском народном доме было

послано Маяковскому через несколько дней после его отъезда из Праги.

Бенеш, Эдуард (1884–1948) – министр иностранных дел Чехословакии в 1918–1935 годах, затем президент.

Крамарж, Карел (1860–1937) – чешский реакционный политический деятель.

Дюамель, Жорж (1884–1966) – французский писатель, посетил Москву в марте – апреле 1927 года.

…основываясь на печальном опыте с Мораном и Берро… – Маяковский имеет в виду клеветнические очерки французского писателя Поля Морана (р. 1888) «Я жгу Москву» и журналиста Анри Берро (1885–1958) «Что я видел в Москве», выпущенные после поездки в СССР в 1924 году.

Дюртен, Люк (псевдоним Андре Невё) (1881–1959) – французский писатель, посетил в марте – апреле 1927 года вместе с Ж. Дюамелем (см. выше) Москву, о чем рассказал в книге «Иная Европа. Москва и ее вера» (1928).

Вильдрак, Шарль (псевдоним Шарля Мессаже) (1882–1971) – французский поэт, драматург и прозаик. Член группы «Клартэ» (см. примечание к очерку «Париж (Записки Людогуся)»), близко стоял к Р. Роллану. В 1929 году впервые посетил СССР, позже с симпатией рассказал о советской действительности в очерках «Новая Россия» (1937), в статьях о М. Горьком, о третьей пятилетке и др. В годы 2-й мировой войны участник движения Сопротивления.

Базальжетт, Эмиль (1873–1929) – французский литератор и переводчик.

Мазарель, Франс (1889–1972) – бельгийский художник.

Дягилев, Сергей Павлович (1872–1929) – см. примечание к «Парижским очеркам». Маяковский имеет здесь в виду ориентацию Дягилева на эстетско-формалистические течения в европейском буржуазном искусстве, которым противопоставляет еще недостаточно знакомый ему сюрреализм.

Сюрреализм – авангардистское течение, возникшее во Франции в конце 10 – начале 20-х годов и затронувшее как литературу, так и все виды искусства. У истоков сюрреализма находится журнал «Литература» (1919–1924), основанный Л. Арагоном, А. Бретоном и Ф. Супо, к которым вскоре примкнет П. Элюар. Будучи подготовлены бергсонианством и опираясь на философские предпосылки психоаналитического учения Фрейда и отчасти Юма, сюрреалисты пытались «освободить художественное творчество от контроля разума» (Бретон А.). В социальном мире сюрреалисты видели только силы, подавляющие человека, поэтому утверждали, что личность обретает духовную свободу в интуитивных психических актах, понимая под ними сновидения, бред, алогизм подсознания. С конца 20-х годов от сюрреализма постепенно отходят наиболее здоровые литературные силы, в 30-е годы разрывают с этим течением сначала Арагон, затем Элюар и др.

«Ажаны» (франц.) – полицейские.

Бретон, Андре (1896–1966) – французский писатель, теоретик и один из основателей сюрреализма, редактор ряда сюрреалистических журналов. После краткого сближения с коммунистами исключен из партии за поддержку троцкизма.

Арагон, Луи (р. 1897) – французский писатель. В начале 20-х годов примыкал к

дадаизму (см. примечание к очерку «Париж (Записки Людогуся)»), являлся, как и А. Бретон, основателем журнала «Литература» (с 1919 – органа дадаизма, – затем – сюрреализма). В 1927 году вступил в ряды Французской коммунистической партии и постепенно перешел на позиции реалистической эстетики. Стал выдающимся национальным писателем Франции. В 1957 году ему присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

Элюар, Поль (1895–1952) – французский поэт, примыкал сначала к дадаистам, а затем вместе с Бретоном и Арагоном возглавил группу сюрреалистов, к которой примыкал, не вполне разделяя ее эстетическую и социально-политическую платформу, до 1939 года. В годы оккупации Франции вступил в компартию, находившуюся в подполье, и принимал активное участие в движении Сопротивления, после войны – в борьбе за мир и демократию. В 1953 году ему посмертно присуждена Международная премия Мира.

Барон, Жан (р. 1905) – французский поэт, входивший в группу сюрреалистов.

Было в кафе «Вольтер». – Это выступление Маяковского в Париже состоялось 7 мая 1927 года.

«Кор-а-кор» (франц.) – схватка, рукопашная.

«Бродячая собака» – артистический подвал-кафе, в котором собиралась художественная богема предреволюционного Петрограда.

Иванов, Георгий Владимирович (1894–1958) – декадентствующий русский поэт и критик. В 1923 году эмигрировал за границу.

Чай, устроенный обществом советско-германского сближения, – устроен в честь Маяковского в гостинице «Руссише Хоф» 10 мая 1927 года.

Гильбо, Анри (р. 1884) – французский поэт и писатель, автор книги «Владимир Ильич Ленин. Жизнеописание» (1924).

Бехер, Иоганнес (1891–1958) – немецкий поэт, общественный и государственный деятель ГДР. В ранние годы – левый экспрессионист по своим эстетическим представлениям и спартаковец, активный член коммунистической партии, ставший в дальнейшем членом ее Центрального комитета. В 20-е годы, обратившись к изучению социальной действительности и марксистско-ленинской теории, поэт ищет пути к реализму, а в последующие десятилетия становится одним из наиболее ярких представителей социалистического реализма в литературе демократической Германии. В 1952 году награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами».

«Ротэ Фанэ» – немецкая газета, центральный орган Коммунистической партии Германии. Основана в ноябре 1918 года К. Либкнехтом и Р. Люксембург.

Роган, Карл – редактор немецкого журнала «Europäische Revue», с которым Маяковский встречался в апреле 1927 года в Москве.

Пепеэсовцы – члены партии ППС (Польской социалистической партии).

«Дзвигня» («Рычаг») – польский литературный журнал коммунистического направления, издавался в Варшаве в 1927–1928 годах. Продолжал журналы того же направления «Kultura Robotnicza» («Рабочая культура») (1922–1923) и «Nowa

kultura» («Новая культура») (1923–1924). Наиболее значительным поэтом этой группы стал В. Броневский (см. примеч. выше).

…письма Родченко… — Письма художника А. М. Родченко из Парижа были напечатаны в № 2 журнала «Новый Леф» за 1927 год. Эти письма вызвали резкую критику в советской печати, особенно со стороны В. П. Полонского, редактировавшего в то время журналы «Новый мир», «Красная нива» и «Печать и революция». В газете «Известия ЦИК» 25 и 27 февраля была напечатана статья Полонского «Заметки журналиста. Леф или блеф?», направленная против журнала «Новый Леф», которая положила начало полемике между этим журналом и критиком. С этой полемикой связаны многие выступления Маяковского той поры, его стихотворение «Венера Милосская и Вячеслав Полонский», дает она знать о себе и в его зарубежных очерках.

…книгу стихов «Над городом»… — Во время пребывания Маяковского в Варшаве Броневский подарил ему только что вышедший сборник своих стихов «Дымы над городом» с надписью: «Владимиру Маяковскому, поэту революции».

Вандурский, Витольд (1891–1937) — польский поэт и драматург, один из создателей пролетарской поэзии и рабочего театра в Польше. Член Коммунистической партии Польши. Встречался с Маяковским во время своего пребывания в Москве в 1920 году. Позже Вандурский писал: «Рабочий Лодзинский театр, открытый в 1923 году, ввел в свой репертуар несколько инсценированных поэм Маяковского и каждую свою программу малых форм начинал с хорового чтения пролога к «Мистерии-буфф». На других рабочих сценах большой успех имела инсценировка «Левого марша» (журн. «Життя и революция», Киев, 1931, № 7).

Критик Ставер — см. примечание выше.

Художница Жарновер — см. примечание выше.

Тувим, Юлиан (1894–1953) — польский поэт, один из создателей литературной группы «Скамандр», которая утверждала «поэзию повседневности» и выступала против традиций модернистских течений начала века, получивших название «Молодая Польша». О своем знакомстве с поэзией Маяковского Тувим позже писал: «Поэтическое потрясение, которое испытал, читая впервые Маяковского, я мог сравнить только с потрясением, пережитым мною, когда я слышал и видел раздираемое молниями небо. Мятеж, переворот, громы, пламя — все ново, беспрецедентно, чудесно, поразительно, революционно… И сразу — и уже навсегда — Маяковский слился для меня с Октябрьской революцией…» («Поэты — лауреаты народной Польши», М., 1954, т. 1, стр. 21).

Слонимский, Антони (р. 1895) — польский поэт, один из создателей литературной группы «Скамандр» (см. выше.). Перевод «Левого марша» был сделан им в 1921 году. Вместе с переводом Слонимский напечатал в противовес Маяковскому свой «Контрмарш».

Захорская, Стефания (р. 1894) — польский критик.

Пронашко, Анджей (р. 1888) — польский художник-экспрессионист.

Рутковский, Щеноны (1887–1942) — польский художник.

Стэрн, Анатоль (р. 1899) — польский поэт, переводчик стихов Маяковского. В 1927 году под его редакцией вышел в Варшаве сборник стихов Маяковского в переводах Ю. Тувима, В. Броневского, Б. Ясенского, А. Слонимского и др. Предисловие к этому сборнику было написано Маяковским во время пребывания в Варшаве.

Ват, Александр (р. 1900) – польский писатель и переводчик.

«Пен-клуб» – международное объединение писателей, основанное в 1921 году в Англии. Объединяет пен-центры, существующие в разных странах – членах Пен-клуба.

Гегель, Фердинанд (р. 1895) – польский писатель, прозаик.

Немного о чехе. Впервые – газ. «Рабочая Москва», М., 1927, 8 июня, рядом со стихотворением Маяковского «Славянский вопрос-то решается просто».

Льеж – главный город провинции и название самой провинции на востоке Бельгии.

…репинская картина… – Маяковский имеет в виду знаменитую картину великого русского художника И. Е. Репина (1844–1930) «Бурлаки на Волге».

«Руде право» – центральный орган Коммунистической партии Чехословакии, выходит ежедневно в Праге с 1920 года.

Чернов, Виктор Михайлович (1876–1952) – лидер партии эсеров, после Октябрьской революции – эмигрант.

Синеблузники – см. примечания к очерку «Ездил я так».

Чешский пионер. Впервые – газ. «Пионерская правда». М., 1927, 25 июня.

Красный Спортинтерн – революционная международная организация рабочего физкультурного движения, существовавшая с 1921 по 1937 год.

Наружность Варшавы. Впервые – газ. «Рабочая Москва», М., 1927, 25 июня. Напечатан рядом со стихотворением Маяковского «Польша».

Поверх Варшавы. Впервые – журн. «Молодая гвардия», М., 1927, № 17, июль.

В том же номере журнала напечатано тематически связанное с очерком стихотворение Маяковского «Варшава» («Чугунные штаны»).

Малашкин, Сергей Иванович (р. 1888) – советский писатель. Его повесть «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь» (1926), в которой разрабатывалась тема нравственности советской молодежи, вызвала горячую дискуссию, подвергалась критике за чрезмерное пристрастие к теневым сторонам быта молодежи, натурализм.

«Нива» – иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни, издававшийся еженедельно в Петербурге с 1870 по 1918 год.

Зозуля, Ефим Давидович (1891–1941) – советский писатель. Маяковский имеет в виду очерки Зозули «Из Москвы на Корсику и обратно».

…масса зощенок… – Маяковский говорит о советском писателе Зощенко М. М. (1895–1958). К сатире Зощенко Маяковский относился резко отрицательно.

Полонский, Вячеслав Павлович – см. примечание к очерку «Ездил я так».

Лежнев, Абрам Захарович (1893–1937) – советский критик, особенно активно выступавший во 2-й половине 20-х годов против лефовцев и Маяковского, против его теории «социального заказа», Маяковский дает отповедь Лежневу в статьях «Расширение словесной базы», в предисловии к намечавшемуся изданию альманаха РЕФ, известному под названием «Товарищи!», в статье «Только не воспоминания…» и др.

Друг Вандурский – см. примечание к очерку «Ездил я так».

Критик Ставер – см. примечание к очерку «Ездил я так».

Щука, Мечислав (1898–1927) – польский художник и график.

Журнал «Дзвигня» – см. примечание к очерку «Ездил я так».

«Родченко в Париже» – см. примечание к очерку «Ездил я так».

Я начал атаковываться корреспондентами, и карикатуристами, и фотографами. – Интервью с Маяковским были помещены в польских газетах «Эпоха», «Польска вольность» (Варшава), «Хвиля» (Львов). В одном из них отмечалось: «Маяковский излагает свои установки как поэта: «Все то, что творят в настоящее время писатели России, – это поэзия действия, борьбы за права человека труда. Я свободный человек и писатель. Я ни от кого материально не завишу. А морально я связан с тем революционным движением, которое переустраивает Россию на началах социальной справедливости» («Польска вольность», Варшава, 1927, 22 мая).

Председатель клуба г-н Гетель – см. примечание к очерку «Ездил я так».

…этакий польский Шенгели. – Шенгели, Георгий Аркадьевич (1894–1956) – поэт и переводчик, автор брошюры «Как писать статьи, стихи и рассказы», которую резкой критике подверг Маяковский в ряде публичных своих выступлений 1926–1927 годов, так и в статьях («Как делать стихи?» и др.).

В дни моего пребывания в Варшаве была поставлена его пьеса. – Пьеса А. Слонимского «Вавилонская башня» была поставлена Польским драматическим театром.

Пшибышевский, Станислав (1868–1927) – известный польский писатель, один из видных представителей декадентского крыла движения «Молодой Польши».

Жеромский, Стефан (1864–1925) – один из крупнейших представителей польской реалистической литературы, классик польской литературы.

Дефензива – польская охранка.

Бельведер – дворец в Варшаве был резиденцией военного диктатора Польши маршала Пилсудского (1867–1935).

…памятник Понятовскому. – Понятовский, Юзеф (1762–1813) – польский военачальник, участвовал в походе Наполеона на Россию, командовал польским корпусом.

…памятник Шопену… – памятник работы скульптора Вацлава Шимановского (1885–1930); поставлен в варшавском саду Лазенки в 1926 году.

Вертинский, Александр Николаевич (1889–1957) – эстрадный артист, автор романсов и песенок, находился в ту пору в эмиграции.

«Медвежья свадьба» с знаменитой «польской» артисткой Малиновской. – «Медвежья свадьба» – популярная в 20-е годы кинокартина, снятая по драме А. В. Луначарского, использовавшего сюжет новеллы П. Мериме «Локис». Главную роль в этой картине играла киноактриса Вера Степановна Малиновская. Сценарий написан А. В. Луначарским и К. В. Эггертом – постановщиком и исполнителем главной мужской роли фильма, отснятого в 1926 году. Маяковский относился отрицательно к этому фильму.

«Дворец и крепость» – советский-кинофильм, поставленный в 1926 году известным кинорежиссером А. В. Ивановским по сценарию Ольги Форш и историка П. Е. Щеголева. Сюжет кинокартины близок сюжету романа О. Форш «Одеты камнем» (1924).

«МЕЛКИЙ НЭП». «О МЕЛОЧАХ». «АМЕРИКА В БАКУ». «КАК Я ЕЕ РАССМЕШИЛ». «РОЖДЕННЫЕ СТОЛИЦЫ».
С очерками и памфлетами на зарубежные темы связаны были так или иначе зарисовки и очерки Маяковского, посвященные отдельным сторонам жизни советского народа. Одни из них писались тогда же и перекликались тематически с выступлениями о зарубежных поездках, другие свидетельствовали о настойчивом стремлении Маяковского шире использовать в своей журналистской деятельности такие публицистические жанры, как очерк, зарисовка, фельетон, заметка. Материалов такого рода немного. Однако они занимают свое особое место в творческой биографии Маяковского. В них еще ярче раскрывается глубина и многогранность его таланта, изумительная способность прокладывать пути новому в любом деле, за которое он брался.

Мелкий нэп. Впервые – журн. «Товарищ Терентий», Екатеринбург (ныне – Свердловск), 1923, № 15, 24 июня.

…отечественные титы… – нарицательное имя русских купцов.

«лимоны» – бытовавшее в просторечии название денежного знака или суммы в миллион рублей; возникло в 1920–1923 годах.

«Если некому пришивать…» – ср. с репликой в пьесе «Клоп»: «Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться!».

О мелочах. Впервые – журн. «Товарищ Терентий», Екатеринбург (ныне – Свердловск), 1923, № 16, 1 июля.

В речах Ильича… – В. И. Ленин в период НЭПа неоднократно указывал на необходимость умения хозяйствовать: «Мы теперь должны все рассчитывать, и каждый из вас должен научиться быть расчетливым» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 306).

…на веревочки, которые в хозяйстве обязательно пригодятся. — Маяковский перефразирует известную реплику Осипа из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»: «Что там? веревочка? давай и веревочку! и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается, или что другое, подвязать можно».

Америка в Баку. Впервые — жури. «Огонек», М., 1926, № 15, 11 апреля.

Очерк написан в результате поездки Маяковского в Баку во второй половине февраля 1926 года. Перекликается с очерками и памфлетами на зарубежные темы, составившими так называемый американский цикл, над которыми он продолжал работать вплоть до весны 1926 года.

В журнале напечатан с тремя фотографиями из альбома, подаренного Маяковскому в Баку: 1) Вид черного города; 2) Групповой прибор, заменяющий 20 нефтяных вышек с желонками; 3) Раманынский рабочий поселок в Баку. На альбоме была сделана надпись: «Пролетарскому поэту В. Маяковскому от признательных нефтеработников и Азнефти 22 февраля 1926 г.» (Альбом хранится в ГММ).

Маяковский оказался в Баку во второй половине февраля 1926 года во время своей лекционной поездки по городам Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии. Пробыл здесь неделю. За это время семь раз выступал с лекциями и чтением своих стихов перед разными аудиториями, встречался с местными литераторами, журналистами, опубликовал в газете «Бакинский рабочий» несколько своих стихотворений и очерк «Я люблю Нью-Йорк» из подготовленной к печати книги «Мое открытие Америки». Во время пребывания в Баку Маяковский встречался с нефтяниками и осматривал строительство новых нефтяных промыслов и написал об этом очерк «Америка в Баку».

О поездке в Баку Маяковский вспоминает также в очерке «Рожденные столицы», написанном два года спустя.

…восемнадцать лет назад. Издали. — В 1906 году Маяковский переехал из Грузии в Москву. Позже, вспоминая эту поездку, он писал в автобиографии «Я сам»: «Дорога. Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть…».

Второй раз… в 13-м. — Ошибка памяти. Маяковский выступал в Баку 29 марта 1914 года, а не в 1913 году.

Как я ее рассмешил. Впервые — журн. «Красная нива», М., 1926, № 29, 18 июля.

Серсо — игра с тонким, легким обручем, который подбрасывают и ловят специальной палочкой.

…не заметил Москвы и почти что прямо подъезжал к Краснодару. — В Краснодаре Маяковский был 12–15 февраля 1926 года.

Рожденные столицы. Впервые — газ. «Ленинградская правда», 1928, 22 января.

Очерк написан Маяковским после лекционной поездки, состоявшейся в конце 1927 года по маршруту Харьков — Ростов — Новочеркасск — Таганрог — Армавир — Баку — Тифлис. В Баку, где Маяковский пробыл четыре дня (с 4 по 7 декабря), он выступал семь раз. Впечатлениям от этого и предшествующего пребывания в столице Советского Азербайджана и посвящен главным образом очерк, задуманный как рассказ об экономическом и культурном росте при Советской власти республиканских центров, о превращении провинциальных в недавнем прошлом городов в подлинные столицы. Маяковский продолжает развивать в этом очерке мысль, которая проходит через его зарубежные памфлеты и очерки о провинциализме жизни и уклада, характерных для европейских столиц, и о расцвете советских городов.

…в Баку, после вечера в бывшем особняке бывшего миллионера. — Речь идет о первом выступлении Маяковского в Баку 4 декабря 1927 года с чтением поэмы «Хорошо!» в доме бывшего нефтепромышленника Мусы Нагиева.

Желоночная добыча нефти… — подъем нефти из скважины при помощи желонки, примитивного прибора, напоминающего по своему принципу ведро.

…«беру манташевские, даю манташевские!» — Речь идет о биржевых спекуляциях акциями бывшего нефтепромышленника Манташева, эмигрировавшего после Октябрьской революции в Париж.

Я видел Баку 24-го года. — В 1924 году Маяковский в Баку не выступал, но, возможно, останавливался на обратном пути из Тифлиса, где он был в начале сентября 1924 года. Все содержание этой «бакинской» части очерка (упомянутые встречи, время) говорит о том, что имеется в виду недельное пребывание Маяковского в Баку в феврале 1926 года. Такую «путаницу» во времени следует рассматривать, очевидно, как литературный прием автора, строившего свой очерк ка контрастах, противопоставлении нового старому.

Тов. Агамали-Оглы, Самед-Ага (1867–1930) — Председатель АзЦИКа (Азербайджанского Центрального Исполнительного Комитета Советов). Поэт познакомился с ним в 1926 году.

Тов. Киферис — точнее, Тиферис Л. Л. (ум. 1956) — в 1927 году один из руководителей технической реконструкции бакинской нефтяной промышленности.

Групповой привод — метод глубоконасосной эксплуатации, при котором от одного привода (мотора) эксплуатируется несколько (группа) скважин.

Азпролеты — азербайджанские пролетарские поэты.

…от необычайности зрелища. — Речь идет о первой в СССР электрифицированной в 1926 году железной дороге между Баку и его рабочим пригородом — Сабунчи — Сурахан.

Юрин, Михаил Парамонович (р. 1893) — советский поэт.

Яков Шведов — Шведов, Яков Захарович (р. 1905) — советский поэт.

С. Стыкалин

Примечания

1 Большой приз (франц.).

2 Качество (франц).

3 «Филадельфийский вестник» (англ.).

4 «Современность» (англ.).

5 Мост улицы Баш (англ.).

6 Мост улицы Баш (англ.).

7 Дайте мне, пожалуйста, стакан чаю (англ.).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

http://mayakovskyvladimir.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!